



Василий
Бочарников

ШЁЛКОВЫЕ
УШИ

Д

Цена 24 коп.

Издательство
„Д е т с к а я
л и т е р а т у р а“

Василий Бочарников

**ШЁЛКОВЫЕ
УШИ**

РАССКАЗЫ



Рисунки А. Келлейникова

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1969

Лет пять тому назад я поехал в деревню Лотково, что близ Рыбинского моря, и там жил, там познакомился с героями рассказов «Шёлковые уши». В этих рассказах нет ничего выдуманного.

Вы прочитаете о дяде Косте. Это удивительный человек: плотник, пчеловод, охотник, лекарь. Он многое мне рассказал, показал, подсказал. Живут, учатся в этих местах живые, весёлые ребята — Сергунька Березин и Витя Водовозов. Чуть подрос и стал ещё смыслёнее пёс Шумок. Улетел, но надеюсь, что наведается в родные места журавль Ромашка. А вот лису Маню и зайца Овсянца я давненько не встречал. И, признаюсь, скучаю по ним.

Напишите, ребята, понравились ли вам рассказы. Письма посылайте по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Автор



ЛАСТОЧКИ

У нас на крытом подворье жили ласточки.

Над старым гнездом прохулилась дранка, стал досаждать дождь, и тогда ласточки слепили себе новое гнездо и в него положили белые с сиреневыми крапинками яички.

Вышел однажды я на заднее крыльцо — по-местному мостик — и услышал: в гнезде, слепленном над коричневым брёвнышком строил, попискивали малыши. Я различил три разных голоса и сначала так и считал, что у нас три птенца.

Родители гневались, когда я стоял под гнездом и смотрел на них, но стоило мне взяться за топор — тесать, колоть или просто держать его в руках, — как ласточки успокаивались.

Мать — та почти не обращала на меня внимания, вероятно, у неё было больше забот. Что же касается отца, то отец был трусоват: влетит в оконце, что под самой крышей, прицелится юркнуть к гнезду, но тут заметит меня и пролетит мимо, бестолково запорхает и сядет на краешек балки или вернётся на досочку под оконце. Глаз злющий, примется ругать меня:

«Чи-и-чить, чи-чить, чи-и-чить!..»

Если бы перевести ласточкин язык на наш, то это означало бы: «Чёрт!.. Чёрт принёс тебя!..»

Поэтому я, бывало, как открываю дверь на мостик, так сразу предупреждаю ласточек уже на их языке:

— Чи-и-чить... чи-чить... чи-и-чить!..

Мать подавала пример отцу и втолковывала, что ничего не сделаешь, нужно смириться. Сама она не маневрировала, а с ходу садилась на карнизик гнезда, прижималась к лепке хвостом и кормила и поила деток. А отец нервничал, трепыхал крыльями и не скрывал, что злится и не выносит меня.

Я видел, как они ловили мошек: выпархивали из подворья и — за огороды, к речке, на траву. Отец летел так низко, что кончики травинки чиркали ему по брюшку, — это он сбивал и спугивал мошек, а летевшая вслед за ним мать подхватывала их. Часто ведущей была и она. А когда на охоту выходил кто-нибудь один из них, применялся такой манёвр: так же стремителен был лёт и так же брюшком задевались травинки, только ласточка делала по ходу крутой поворот и той же трассой неслась назад, подбирая не успевших сесть мошек и букашек.

Бывало и так. Ласточки сходились высоко в небе, где-нибудь над луговиной или речкой, и, трепеща крыльями, из клюва в клюв передавали друг дружке добычу; получивший её тут же срывался вниз и торопился к родному подворью, а свободный продолжал охоту.

Птенцы подрастали, требуя всё больше и больше еды и питья. Родители с рассвета дотемна работали. Суше стала фигурка матери, но и грациозней, а у отца снизу на шейке чуть отвисло коричневое оперение. Он по-прежнему остере-

гался меня. Прилетит на подворье с добычей, увидит меня, опустится на досочку под оконцем и объявит выговор:

«Чи-чи-чить... Чи-и-чить...»

Как он при этом не выронит мошку или не выплеснет во-дицу из клювика, уму непостижимо. Впрочем, таким искусством обладала и мать: щебетом предупреждала детей, что она несёт им еду или питьё. Но и птенцы вели себя примерно: получивший свою долю уже не зарился на долю другого, не раскрывал клюва, не роптал, что маловато перепало.

Не трое, а четверо молодых ласточек выглядывали теперь из гнезда; они были похожи на грибки боровички, когда их шляпки ещё не отделились от корня.

Одно мне было непонятно: оделив всех птенцов едой и питьём, то мать, то отец, потеснив их, запускали головку в глубь гнезда и что-то там делали. Но что? Может, санобработку? Но в этом не было никакой необходимости. Умные птенцы строжайше блюли чистоту: поворачивались хвостиком из гнезда и добавляли ещё один завиток к груде серого каракуля, накиданного уже на сложенные под гнездом доски. Потом разминались: вытягивали крылышки и пробовали трепыхать ими, подёргивали хвостиками, вертели головками, оглядывая всё вокруг, и наконец успокаивались, потеснив молчаливо сносивших все эти вольности братцев и сестрёнок.

Со временем всё познаётся. Пришёл день, и моя загадка разъяснилась сама собой: из чашечки гнезда торчало уже не четыре, а шесть грибов боровичков с белыми грудками. Значит, родители в глубине гнезда и кормили, и поили, и обихаживали своих слабеньких птенцов.

— Чи-и-чить... Чи-чить! — приветствовал я каждое утро молодёжь.

Ласточкины детишки привыкли ко мне и не ужимали головок, как сначала, а только хохлились от важности. И было отчего: такой большой, а заискивает перед маленькими.

Изба без кошки — не изба. Своей кошки у нас не было, и мы стали брать «напрокат» соседскую, Березиных. Звали её Федорой. Федора была крупная, но худущая. В первый же раз она съела полкукана окуней и проскользнула за мной на мостик — думала, ещё кормить буду. Какая тут брань обру-

шила на мою голову! Писк ласточек был дружен, гневен, непримирим. Пришлось выдворить Федору в сенцы, но и тогда ласточка-мать всё ещё не могла успокоиться, всё летала по подворью и щебетала, щебетала — выговаривала, выговаривала мне. И поделом!..

Вечером того же дня, опасаясь Федориных проказ, я решил сделать крышки на кувшины. Я вышел на мостик с ножовкой и фонарём — распилить доску на куски. По обыкновению, глянул на ласточкино гнездо. Все шестеро питомцев дремали, развернувшись хвостиками наружу, а головками внутрь гнезда: так им было, видимо, просторней и прохладней.

А вскоре солнечным утром ласточки покинули гнездо. За полдня юное племя прошло предварительную школу полётов у нас на крытом просторном подворье и чердаке. Все шестеро выдержали экзамен, и родители вывели их на простор...

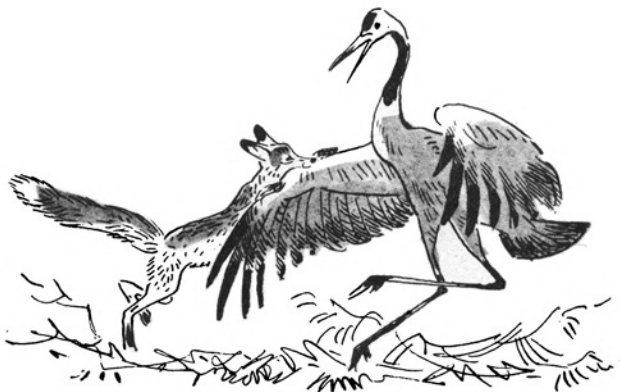
Грустно было глядеть на пустое гнездо — от щебета ласточек на меня веяло обжитым миром, тишиной и радостью. Заглянешь на подворье, где в каждую щель проникает солнце, постоишь, подумаешь, рабочая суета взрослых ласточек передаётся и тебе, посмотришь на молодяка, у которого всё праздники да праздники. Теперь вот кончились праздники.

— Ничего, — успокаивал меня мой ученик Витька Водозовов, внук бабки Марфы, — они вернутся, Михаил Петрович. Вернутся, я знаю. И спать под крышей новое гнездо.

РОМАШКА

Лесник, ежели он усердно и долго служит своему делу, слывет в деревне за учёного человека: деревья понимает, зверьё понимает, разные случаи в природе объяснить может.

Таким у нас в деревне был дядя Ипат. Живёт он со старухой да внуком Виталькой. Витальку по слабости здоровья родители отправили из Москвы сюда «дышать лесом», да так он с пятилетнего возраста и живёт у деда с бабкой. Теперь уже в четвёртый класс ходит Виталька.



Нынешней весной дядя Ипат, обходя Звонцовский бор с болотинками-мошниками, вернулся с добычей — журавлём. Вся деревня знала лесников рассказ, и повторялся он по всей округе.

— Иду. Слышу крик, такой резкий, что сразу в сердце проник. Кого беда постигла?.. Ружьё с плеча — и рысью... Вижу, мельтешит что-то красное. А это лиса ломает журавку. Всё норовит за шейку цапнуть. И как бы цапнула, так и каюк. А только журавка не даёт, дёргается, подскакивает, кричит. И кричит так, словно бы просит всё живое: «Помогите!» Бацнул тут я из ружья вверх, рыжая чертовка отпрянула от птицы — и в осинник. А журавль стоит зацепенело и ждёт. Подхожу, вижу — плохо дело: крыло помято, нога искусана... Перевязал я его тряпицей и понёс...

Вот так в нашей деревне появился журавль — в лесничковом дворе. Два первых дня ничего не ел, только тоскливо вертел головой да стонал по ночам.

Виталька назвал журавля Ромашкой. Ромашка по наказу

деда свободно ходил по двору, а на ночь его вместе с курами загоняли на подворье.

Журавль сперва привык к ребятишкам, а от ребятишек доверие у него перешло и на взрослых; он охотно принимал лакомые подачки, быстро бегал.

Однажды все в деревне ушли косить луг. И дядя Ипат наравне с молодыми валил своей литовкой густотравье. Рубашка взмокла. Вдруг слышит:

«Кыр-лы-ы... Кыр-лы-ы...»

Оглянувшись, а по его покосу идёт, кланяется Ромашка.

— Гляди-ка, дядя Ипат, тебе поклоны! — сказали косари.

И пока отдыхали, глядели на журавля. Он же словно догадался, что о нём говорят, разбежался и храбро взмахнул крыльями. И оттолкнулся. И взлетел было, но тут у него получилась разнобой: одно крыло успевало делать два маха, другое, покалеченное, отставало на целый мах. И журавль упал. Жалкий, лежал он на боку с поджатыми жёрдочками ног, с раскрытым клювом. Дядя Ипат кинулся к нему, поднял, приговаривая:

— Ничего, Ромашка... Молодец, Ромашка! Проверил крыло. Полетишь... Полетишь!.. Виталька, ну-ка подай ему водицы испить! Ишь как зашлась птица. Горюет, а того не понимает, что к жизни вернулся...

После случая на лугу Ромашка долго не пробовал летать.

Однажды рано-рано дядя Ипат собрался на рыбалку. Вскинул пук удочек на плечо да и скажи:

— Айда, Ромашка, рыбачить!

Пошёл журавль. Пришли на речку Сутку. Раздвинул лесник осоку, стал прилаживать упоры для удочек. Ромашка оглядывался, оглядывался, потом завертелся и вдруг горласто, радостно крикнул. И тут же из болота за речной излучкой — ответный журавлиный крик.

«Что дальше будет?» — подумал дядя Ипат и снял картуз от волнения. И не выдержал, зашептал:

— Ну, Ромашка, ну, дурачок, крой же... крой к своим... Слышь? Зовут.

Радостью сверкнул глаз журавля. Журавль вскрикнул и полетел. Чуть отставало левое, мятое крыло, но Ромашка

держался. Дядя Ипат проводил взглядом птицу и долго-долго курил, не замечая рыбьих всплесков...

С реки он шёл не спеша, на плече нёс удочки, в руке улов. Старик думал о том, как расскажет внуку Витальке и старухе о расставании с журавлём: как он кричал, как он летел, как радовался.

Когда укладывал удочки на слуги, из избы вышла старуха.

— А я, бабка, Ромашку нашего проводил. Да-да, — сказал лесник глуховато.

— Полно врать-то. Оглянись! — Бабка щурилась на солнце.

Лесник оглянулся. К нему по низкой плотной зелёной траве шагал Ромашка.

— Здравствуйте! — развёл руками дядя Ипат.

Теперь Ромашка то улётал, то прилётал. И все догадались: к отлёту готовится большому. Не иначе.

Пришла осень. Откуда-то на поля, на дороги, на поляны хлынула паутина. Рвалась, цеплялась за ветки деревьев. А росы выпадали холоднушие.

И не только дядя Ипат, его внук Виталька и бабка — вся деревня ждала разлуки с Ромашкой: тронутся журавли, и...



Улетел Ромашка к вечеру. С неделю его не было. Все реши-
шили, что он улетел совсем.

В солнечный денёк журавлиный клин показался над де-
ревней. Стая тянула в сторону елового леса — на юг.

Дядя Ипат вогнал топор в бревно:

— Гляди-ко, Виташка, тронулись журавли. Тронулись!
Может, и Ромашка в ихней компании.

И только сказал это дядя Ипат, вдруг оборвалось самое
крайнее колечко журавлиной цепочки. Птица пошла вниз
кругами, а вся стая, как стрела, была всё так же нацелена
на юг.

Это был Ромашка. Он опустился во двор лесника и, тяже-
ло дыша, нервно трепыхая помятым крылом, крикнул:

«Кыр-лы... Кыр-лы...»

Деревня терялась в догадке: почему не полетел Ромашка?
И жалела его.

— Выходит, не понадеялся на свои силы, — так объяснил
возвращение журавля дядя Ипат. И ещё он сказал: — А уж
следующая весна — его. Точно знаю.

КОНЦЕРТЫ

В тот день мы до обеда бродили по лесу в поисках гри-
бов колосовиков. Со мной были дядя Костя, Витька Водово-
зов и Сергунька. Мы досыта находились, ноги гудели, а кор-
зины наши были всё так же легки, как и в начале похода.

И самой дорогой находкой, для меня по крайней мере,
был концерт лесных артистов. Каких только птичьих голосов
я не наслушался!.. Пели тонко-тонко в один голос и в не-
сколько голосов, пели так, как будто в крошечных горлыш-
ках водица плескалась; пели длинно и коротко, нежно и рез-
ко, не подлаживаясь под другую породу; пели, чтоб нас по-
забавить, а то, чтоб отвести в сторонку от своего жилья, от
птенцов неразумных; пели при солнце и когда оно скрыва-
лось за тучами, пели при дожде — он несколько раз прини-

мался и стихал, — и это пение можно было назвать концертом с хоровым исполнением.

Солисты выступали во втором отделении, когда мы вышли из лесу и тут за нас взялся по-настоящему дождь. Косой, с ветром — то отнесёт всю громаду дождя в сторону, то обрушит на нас, бьёт в грудь и лицо. Каждый защищался от дождя как мог. Дядя Костя — куском клеёнки, Витька — газетой, а Сергунька и я сдались: у нас ничего не было... И вдруг — песня. В вышине, при дожде! И жаворонок-певец виден: перебирает, бьёт от нервного старания крылышками и поёт, поёт... Но вдруг сорвался, будто его сбило дождевой струёй на мокрое сизое овсяное поле. А под серым низким куполом — чудеса, да и только! — песня... Лилась песня — теперь старался уже другой солист, сменивший товарища.

Отпели жаворонки — кругами заходил над нами чибис и запел. И я ощутил вдруг, что плохая погода вовсе уж не такая плохая, как думалось. Ведь вот же — поют птицы. Чибис то снижался, то круто брал вверх; обликом он похож на голубя, только крыло помашистей, покрупней да расцветка пера рябая.

Чибис старался, хотя для этого артисту-чибису приходилось сразу делать два дела: догонять нас и веселить.

Теперь я смело лез в лужи, в колеи, наполненные жёлтой водой, не подворачивал штанины. Стоило там думать о каких-то грибах колосовиках: их пора ещё придёт, а такая музыка — при дожде — выпадает один раз, и то не каждому.

КРЕПКО СИДИТ

Самое дальнее поле у нас — на Мокашинке. Кругом лес, а в лесу поле. Оно обнесено изгородью, потому что в лесу летом пасётся скотина.

Глядят-дивятся великаны сосны, ели да берёзы, как выворачивают люди пластами землю, как в землю бросают зерно, как пробиваются ростки ржи, как выходят они в трубку,



как перешёптываются первые колоски, как звенит полный колос.

Местами изгородь сгнила, местами скотина разрушила. Пришли бригадир Терентий, дядя Костя да дед Березин подновить изгородь.

В лесу было тихо и жарко. Строительного материала под рукой сколько хочешь, и зазвенели, зачастили топоры.

Но вот дядя Костя занёс было топорик, чтобы кол вбить, но тут же опустил руку. Позвал шёпотом:

— Мужики-и, а мужики-и, идите-ка сюда...

Подошли Терентий с дедом Березиным, глянули, куда показывал дядя Костя, переглянулись: чёрно-серо-коричневый хворост изгороди — ничего больше. Молча развели руками, но дядя Костя, не говоря ни слова, кивал головой и показывал пальцем всё на то же место. Вдруг какой-то тёмненький сучочек шевельнулся, и тогда и они, Терентий с дедом Березиным, увидели под изгородью, у самого основания кола, самку рябчика. Если бы самец, так тот с хохолком был бы. Рябчиха сидела на гнезде так скрытно, что если бы не повела носиком (они приняли его за сучочек), то и

не увидели бы её. Дымчатая-дымчатая, с крапинками тёмно-серого с переходом на светлое, а по всему перу лёгкая желтинка. Поняла, что открыли, что глядят на неё, а не слетела. И откуда знала, что не враги, что не протянется, не посмеет протянуться рука и перехватить горло... А если это не смерть, то ей, матери, не нужны были сейчас даже друзья...

Тут подошли с тусками — землянику собирали — брат и сестра Стожаровы. У брата на тонком ремешке фотоаппарат. — О чём секретничаете? — спросил Стожаров.

Мужики молча показали.

— Рябчиха-а! Э-э-э! Нужно сфотографировать! — загорелся Стожаров. — Отличная фотография выйдет для газеты.

Сфотографировал рябчиху на расстоянии двух шагов — сидит. Потом приблизил аппарат на полуметр — ни одно перо не шевельнулось у самочки, только глаз с коричневым ободком потемнел от напряжения. И тогда Настя Стожарова умилилась и ладонью погладила по спинке отчаянно-смелую птицу.

Мужики стали работать. Поправили над гнездом жердь — сидит. Рядышком спешно, но всё же с предосторожностью забили кол — не слетела.

— Крепко сидит! — не выдержал дядя Костя, и в его словах прозвучала высшая похвала птице-матери.

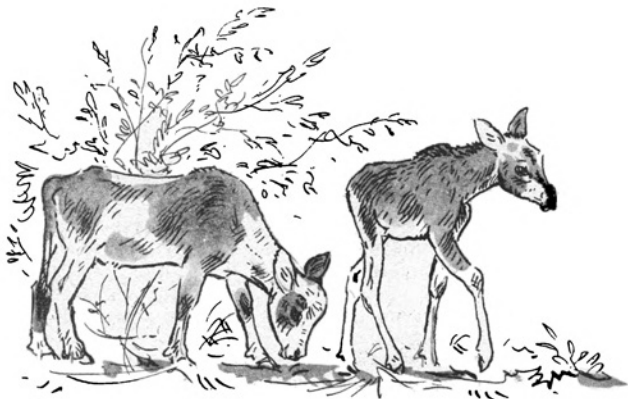
Когда недели две спустя в поисках грибов колосовиков дядя Костя привёл меня к изгороди, в гнезде была лишь скорлупка от яиц.

НАШЁЛ СЕБЕ ДРУЖКА

У Митрофановны пропал телок. Тайком улизнул из стада молодняка — и в лес. Больше тут некуда деться, со всех сторон Лотково обступили леса — еловые, сосновые, с берёзовыми окраинками.

Искали день, искали два, а на третий, посокрушавшись, Митрофановна сказала:

— Наверно, волк задрал.



Но всё же когда Митрофановна встречала ягодников — ребяташки ватажкой шастали по вырубкам за первой земляникой, — спрашивала:

— Не видали моего непутяжку?

Никто не видал.

Так прошла неделя.

Однажды за полдень Митрофановна возвращалась со станции.

Уже миновала Веселковский бор и тут на лужке увидела двух телят. Сразу узнала своего — в белых чулочках, а сам чёрный. Позвала дрогнувшим голосом:

— Бы-ыня-я, бы-ыня-я...

Замычал, признал беглец хозяйку. А та развязала, радуясь, узелок и переломила булку.

— Иди... иди... угощу.

Беглец приближался, а за ним, чуток поотстав, шёл другой телок, масти светлой, высоконог. Пригляделась Митрофановна, а это лосёнок.

Усмехнулась: вот какого дружка, шляясь, нашёл себе. И ещё ласковой:

— Быня, бынь...

Бычок, почуяв запах хлеба, побежал к хозяйке рысцой. Лосёнок же насторожённо остановился. Ждал, что будет. Он видел, как его дружка женщина погладила по лбу, шее и стала угощать с ладони чем-то вкусным, запашистым, щеко-тавшим ноздри. Фыркнул.

Тут Митрофановна обратила внимание и на лосёнка.

— Иди, лосик, иди-ко... И тебя угощу булочкой...

Лосёнок подумал, вслушиваясь в голос женщины, и подошёл. Митрофановна протянула на ладони кусок булочки.

— Ешь, ешь, лесовичок! — ласково звала она.

И шершавые губы лосёнка окунулись в ладошку. Понравилось, зачмокал губами. Порция показалась мала, ещё потянулся к руке Митрофановны...

Потом она рассказывала:

— Отломила им ещё по кусочку. И пошла. Они за мной. Две булки искормила за дорогу... У самой околицы лосёнок вдруг шарахнулся в кусты, а своего удержала... Теперь на верёвочке вот пасу — боюсь, не махнул бы к дружку на болотину. В гости.

ХИТРАЯ ЩУКА

Не местечко, а находка! На луговине берег Сутки опушён ивняком. Тут было тихо, на воде не было ряби, от которой поплавки дрожали, раздражая глаза. А ещё шагах в трёх от меня, на луговине, попалась ямина, наполненная водой, — чем не садок? Выхватил окуня, снял с крючка и кидай через плечо. Без кукана свободней рыбалка.

Окуневый клёв — радость. Окунь идут к удочке дерзко, клюют, я бы сказал, честно, открыто, не как плотва, подлещики или там голавли.

Я ловил окуней и, полуобернувшись, кидал без промашки в свой садок.

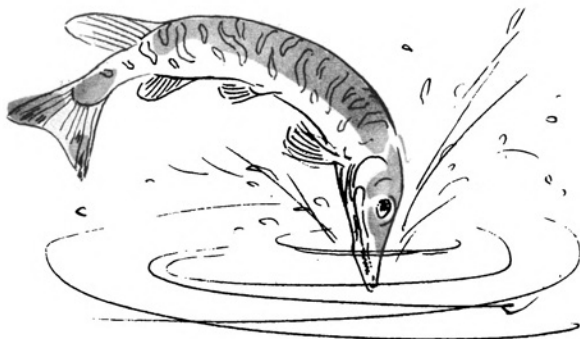
На крайней удочке что-то долго не клевало, поплавок прибило к коряжине, и я потянулся к удилищу — закинуть удочку на новое место и, если нужно, сменить червяка. Легонько отвёл лесу от коряги и потянул. Тут и дёрнуло — на ходу клюнуло. Спружинило удилище, и уже руке передалась живая тяжесть. «Есть!» От этой мысли рыбак пьянеет и забывает обо всём на свете.

Я вытащил молодую щуку, вытащил довольно спокойно — она не водила. Казалось, щука была удивлена, что с нею обошлись так бесцеремонно.

Прижав к траве добычу, осторожненько вынул крючок из зубастой пасти и кинул щуку в садок, где время от времени поплёскивало всё ещё озорное окуньё.

Щука побилась-побилась и затихла. А я ещё усерднее следил за поплавками. Ведь всегда у рыболовов так: ждёшь, что вот-вот подцепишь «свою» рыбку — крупную, какую ещё не ловил. Но шли окуни.

Вдруг за моей спиной в садке что-то взорвалось. Я обернулся и обомлел: щука была в воздухе. Она упруго взвилась,



упала в траву и тут же подкинулась ещё выше. «Уходит!» Я вскочил, но было поздно: серебристое веретено развернулось и плюхнулось в речку. Волна подкинула поплавки. Поплавки долго покачивались с боку на бок, словно подсмеивались надо мной...

Дядя Костя, которому я рассказал про этот случай, растолковал мне:

— Шука, она, как лиса, понятлива очень. Сообразила, что попалась, и не стала тратить силы. Вот они ей и сгодились.

Как бы то ни было, но шука от меня ушла. Обманула. Вот и выходит, что шука была хитрая.

РЫЖИК

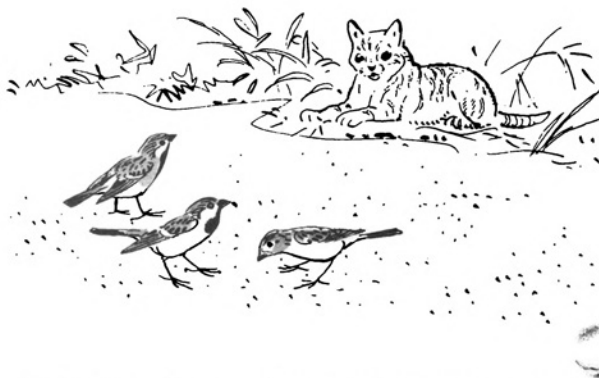
В деревне так: если ты кому-то сразу по приезду пришёл-ся по душе — без всякого испытания, каков ты и что ты можешь, — твой покровитель окружает тебя вниманием и заботой, не требуя в ответ ничего. Для нас с женою в лесной деревеньке Лотково, куда мы приехали учительствовать, таким добровольным и ревностным покровителем стала бабка Марфа. То несёт нам огурчики «с грядки», то банку чёрной смородины «только что нащипала», то придёт «просто посидеть», а на самом деле не просто, а дать совет, как сушить грибы, чтобы жаром не отбивало у них лесной запах, как и когда ставить в печь молоко, чтобы оно стопилось и пенка не сгорела.

Однажды бабка Марфа наведалься к нам ранним утром. У неё был торжественно-таинственный вид, руку она прятала под передником.

— Пришла-а! — возвестила она напевно-громко. И сразу же заявила: — Хватит вам брать на прокат Федору. Изба без кошки — сирота. Принимайте гостинец! — Она откинула передник, и мы увидели рыжего-рыжего котёнка.

— Какой красивый! Рыжичек... Рыжик! — сказала жена и погладила котёнка.

— Ну вот, и именем нарекли, — довольно улыбнулась



бабка Марфа. — Растите, Вероника Алексеевна, кота, да не шибко балуйте.

Рыжик стал жить у нас. У него была пушистая шёрстка, но не огнисто-рыжая, а лимонно-рыжая, и голубые глаза, с заметной косинкой, в которых часто мелькало удивление. Для него всё-всё в жизни было новым, загадочным; с каждым предметом в избе, в сенцах, во дворе приходилось знакомиться, запоминать цвет, запах. Почему камешки у крыльца не убегали, не улетали, а воробьи, к которым он шёл открыто, дружелюбно, чтобы поближе узнать, взмывали вверх, садились на ветки черёмухи и дразнились, и спрашивали: «Чей?.. Чей?.. Чей?»

— Ну, Рыжик, — сказал я котёнку, — давай договоримся: жить в дружбе и слушаться. А для начала — здравствуй! Что ты должен сделать? Подать правую лапку... вот эту-у... Здравствуй, Рыжик... Лапку, лапку!

— Так он тебе и будет служить! — засмеялась жена. — Кошки не поддаются дрессировке. Рыжик будет слушаться больше меня... Иди сюда, Рыжичек, молочка налью. Иди!

— Это не дрессировка вовсе. Здравствуй, Рыжик, ну-у, дай же, дай лапку...

Котёнок глядел на меня двумя удивлёнными голубичками. А я взял его правую переднюю лапку и несколько раз положил на свою ладонь.

— Вот как нужно. Понял?

По утрам Рыжику нравилось забираться ко мне на кровать. Делал он это так: прыгал на холщовый свес и по нему карабкался. Достигнув благополучно кровати, пробегал по одеялу. Тут я его ловил и щекотал брюшко. Он ложился и отбивался всеми четырьмя лапками.

Над кроватью у нас был простенький коврик. Я брал Рыжика и подносил к коврику.

— Учись быть верхолазом! (Подталкиваемый снизу моей ладонью, он цеплялся когтями за коврик.) Лезь... Лезь... — командовал я.

Сначала Рыжик не понимал, чего от него хотят. Потом, смекнув, что это игра, а любая игра была для него развлечением, по команде «лезь» цеплялся за коврик и карабкался вверх так, что ткань трещала, а достигнув кромки, замирал — даже хвост не шевелился, — только поворачивал ко мне голову и голубичками глаз спрашивал: «Дальше что?»

— Прыгай, Рыжик! — весело командовал я.

Он прыгал на кровать, с кровати скатывался на пол и бешено мчался, виляя из стороны в сторону, будто за все его проделки ему сейчас грозила беда. Он нырял под диван, сжимался в комок и даже глаза закрывал: «Нет меня. Был и нет...» Тогда я звал ласково:

— Ры-ыжи-ик...

С разбегу он влетал на кровать и, не даваясь в руки, сам прыгал на коврик.

Через полмесяца после такой забавы коврик у нас стал мохнатым. Жена качала головой, а я смеялся.

У двери в сенцы стояли мои старые валенки. И как-то я опустил Рыжика в валенок. Хорошо помню, что в левый. Немного погодя я со всей предосторожностью сунул руку в валенок, а котёнка и след простыл. Глядь, а из второго валенка торчат ушки. Я сделал вид, что не замечаю хитреца, повернулся к нему спиной и в зеркале на стене увидел, как Рыжик, озираясь, переметнулся опять в левый валенок.

Между прочим, валенки он использовал как место своего спасения. Набедокурит — и в валенок. Уцепится, и не вытряхнешь его из валенка.

А то у него была ещё такая забава: цеплялся за мою штанину и повисал, и держался с превесёлым видом, а я в это время должен был ходить по комнате и носить его и делать вид, будто хочу и не могу стряхнуть его со штанины.

Рыжик заметно подрос. Теперь на моё обычное «здравствуй» подавал лапу, по команде «лезь» лез на коврик, «прыгай» — прыгал.

— Рыжик, ко мне! — звал я его, и он, как послушная собачонка, нёсся ко мне с чердака, из огорода, с соседнего двора. Знал: послушание и старание будет отмечено рыбкой, кусочком мяса или косточкой.

И для еды были свои команды: «сесть» и «проси». При слове «сесть» он столбиком садился на задние лапки, вытянув хвост, а передние лапки прижимал к белой грудке и не шевелил ими. Но вот раздавалось: «Проси!» — и тогда Рыжик то отводил, то приближал к себе правую лапку (а левая прижата!), при этом зорко следил, чтобы не было обмана и старание было отблагодарено.

Все лотковцы удивлялись способностям понятливого коота. А бабушка Марфа только руками всплёскивала:

— Изю рта, шельмец, кусок у тебя вырвет. Не хочешь, а дашь. Себе откажешь, а ему отдашь за удалую службу... Дивно это, Михайло Петров! Дивно!..

Стояло жаркое лето с сухими росами — они держались на травах не часами, а десятками минут и сходили. В жару и кошки и собаки да и вообще все животные едят плохо, тощакуют. Рыжик отворачивался от колбасы, от печенья. А к свежей, только что из воды, рыбе приохотился.

Он чутьём угадывал, когда я должен был возвращаться с рыбалки, и опрометью летел встречать меня — не на крыльцо, не во двор, а почти до Березинского проулка. Он не мяукал, как другие кошки, не кланчил и не прыгал воровато сзади на кукуан с рыбой, а шёл рядышком и только поглядывал на меня. С завистью поглядывал. Дескать, как же так: уходит человек куда-то с какими-то непонятными палками, а

приходит и приносит такую богатую добычу. Всем ли её дают там?.. Не скажу, чтобы для себя каждый раз выходило, а для Рыжика всегда налавливал.

— Ну, брат, при твоих потребностях тебе полагалось бы самому рыбку ловить, — намекнул я однажды Рыжику.

— Тебе бы всё шутить! — сказала жена.

— А что? Кошки ловят рыбу, — ответил я. — Мне рассказывал дядя Костя, что на Рыбинском море от затопленного города Мологи осталась башенка — не то пожарная, не то церковная. В той башенке жила, и долго жила, кошка. Она ела только рыбу. Сама ловила. Караулила и ныряла. Меха у неё стал густой, лоснящийся, как у тюленя. Рыбаки её хотели снять, но она от них удирала; хлеб оставляли — к хлебу не притрагивалась.

Однажды я сказал котёнку:

— Ну, Рыжик, пойдём ловить рыбку.

Понятливый кот, наверно, догадался, куда мы идём. Он бежал рядышком, а то и вырывался вперёд.



Река ошеломила и изумила его; она вся сияла на солнце, как большущее зеркало, и он зажмурился, вздыбился, готовый или драться, или дать стрелача. От реки пахло рыбой, и Рыжик фыркнул. И всё же в его движениях не было уверенности.

А река была живой и хитрой. С берега вытянувшегося Рыжику было видно, как на него летели птицы, он сжимался, пружинился, готовый прыгнуть, но вдруг птицы пропадали.

Я глядел на него, выжидая: догадается ли, что это отражения птиц? И он вскинул круглую голову и увидел птиц, настоящих.

С берега на малую удочку я поймал пять мальков и из банки выпустил их в долблённый отсек лодки, наполненный на пол-ладони водой. Рыжик вслед за мной прыгнул в лодку и уселся на верхней планке. Его привлекли мальки, ходившие перед ним взад-вперёд.

Когда я подсек и вытащил первого окуня, Рыжик пришёл в страшное волнение, мяукнул и изготовился к прыжку — прямо в речку.

— Погоди, Рыжик. Ведь у меня есть леска.

Окунь моментально был съеден. Хруст и чавканье за моей спиной прекратились, и я увлёкся ловлей, упустив на время из вида Рыжика. Окунь на этот раз обманул меня — на даровщинку полакомился моим живцом. Тут я повернулся, чтобы насадить нового живца. По отсеку возбуждённо шныряли два малька. А где же третий? Куда делся третий? Выпрыгнуть из лодки он не мог. Уж не Рыжик ли поймал его? Рыжик сидел как ни в чём не бывало и напряжённо следил за мальками. Куда они, туда и он поворачивал голову. А лапы были мокрые. И усы тоже. Он!

Я оставил мальков и насадил на крючок червя. Закинув удочку, скосил глаза, чтобы следить за Рыжиком. Кот лёг поперёк планки, свесив передние лапы к воде отсека, а хвост опустил в другой, сухой, отсек и хищно поигрывал им. Это означало у него высшую степень напряжения. Рыжик выжидал долго, мальки успокоились и заходили взад-вперёд. Тут он толчком подался вниз и спал малька.

Ловко у него это получилось. А через несколько минут поймал и последнего малька.

— Да из тебя, Рыжик, выйдет настоящий кот-рыбак! — ликовал я.

Не суждено было сбыться моим ожиданиям. Кто знает, какие бы ещё неожиданные способности проявились у Рыжика, подаренного нам заботливой бабкой Марфой, не случись беды. А беда пришла совсем скоро. У кота была привычка: в полдневный зной он забирался на торец открытой в сенцы двери и там, наверху, на сквозняке дремал. И в тот раз дремал он на двери. А к нам по делу завернул бригадир Терентий и — с ходу — хлопнул дверь. Насмерть придавил Рыжика.

Мне было очень горько. Так и вижу лимонно-рыжий комок с голубыми глазами. Лукавыми и умными. Так и вижу...

КОНЬ С ВОЛЧЬЕЙ МЕТКОЙ

Лотково — наша деревенька — в два посада. Прямо — лес и позади — лес, направо — лес и налево — лес. Еловый, сосновый, немеряный. Деревенька на взгорье, а внизу Сутка — речка, с заводями, плёсами, островами. То здесь, то там, словно стаи лебедят, лилии да кувшинки. По воде ровно кто косой косит: это ходят жерехи, лещи и плотва.

Меж Суткой и огородами колхозников — подковой, почти до самого скотного двора, луг с ивовыми кустами. Луг этот не запретный, на него после работы выпускают колхозных коней; целыми днями гуляет здесь резвый табунок жеребят.

Трава свежая, водопой рядышком. К тому же всегда на глазах — из деревни лужок виден как на ладони.

В Сутке, хоть ранним утром, хоть в сумеречный час, вода тёплая, мягкая — купанье ребятишкам в удовольствие. В берег врыли они козлы, на козлы положили широченную крепкую доску, разбегаются, и самодельный трамплин подкидывает чуть ли не до середины Сутки.

Купаются ребята, а рядышком бродят кони. Иные подходят, нюхают одежку — не припасено ли чего для них.

Я видел, что, когда на Сутку приходил купаться Витька Водовозов, невысокий крепкий паренёк, к нему, подёргивая головой, направлялся гнедой мерин, сытый, лоснящийся, и норовил поласкаться. Мерин был доброго нрава, степенен, и его уважали жеребята. Иногда он чесал им холки своими большими желтоватыми зубами. К нему с заметной уступчивостью относились все кони, которые паслись на лугу.

У этого гнедого мерина была метка, такой я никогда не видывал ни у колхозных, ни у армейских коней: на правой ноге огромной буквой «Г» отпечатался шрам. Шрам был старый, чёрным рубцом изпибался, когда конь, отбиваясь от паутов коротко остриженным хвостом, подёргивал и кожей.

Витька всегда подходил к коню, совал в мягкие, с тонкими белёсыми волосками губы корочку хлеба или кусочек сахарку, гладил щёки, чесал за ушами, ладонью похлопывал по шее и, случалось, пучком травы чистил коню бока.

— Нравится?.. И-и-эх ты-ы... — разговаривал он. — Где перепачкался так?.. Ну ладно, говорю, ходи, кормись... Ну-у, иди же, кому говорю!..

— Вижу, Витёк, что из всех ваших коней ты больше выделяешь этого гнедка со шрамом. Смирнее всех?

— Работаем вместе. Тянет воз с любой поклажей, что-о твой трактор.

— Значит, на работе подружились?

— Угу! — Витёк дружески шлёпнул коня по лопатке. — Иди, Барон, пасись. Знаю, что любишь, знаю. Иди. — Подождал, пока конь не отошёл от нас, сказал: — Все лошади, Михаил Петрович, разные. Во-он того, серого, видите? Шустрый коняга. В упряжке всё бегом, всё бегом. Не знамши, и не удержишь. Тёток — тех обижает: понесёт, понесёт — и не остановят. Боятся тётки ездить на нём... А вон тот, рыжий... да нет, не тот, что с конями, а с молодняком который, — норовистый. Любую сбрую рвёт. А этот, мой-то, работяга. За ласку растянется!

— А что у твоего коня за шрам, Витёк?

Витёк сел рядом со мной в лодку, скovyрнул ногтем с сиденья лещовый пяточок и стал рассказывать.

Барон (у нас иногда назовут корову или коня так, что диву даёшься) был бойким жеребёнком, ходил за маткой без привязи и в лес, и в другие бригады, и на станцию. Ко всему приучался.

Коней в деревне Лотково, как и везде в наших костромских местах, никто не пасёт с ранней весны и до поздней осени. Сами кормятся. Только рабочих коней путают, чтоб далеко не уходили. Ночью, насытившись, кони всегда приходят в деревню — тут меньше комаров. Улица травой поросла, так что и пощипать есть что.

Однажды паслись Барон с матерью у леса. Мать, работающая кобылица, не теряла даром времени, хрустела травой — трава была сочной, по-лесному прохладной, пахучей, а главное, её было вволю. А Барон резвился — там ушипнёт, тут ушипнёт, к соскам приладится, молочком полакомится и опять бежать.

Не знал ни он, ни мать, что за ними неотступно следил волк. Выжидал: приблизится несмышлёныш к ольховым кустам, он на него и кинется.

И такой момент подоспел. Подбежал жеребёнок к кусту,



волк и метнулся на него. Счастье Барона, что успел он в све-
че развернуться, иначе волк распорол бы ему горло. А так
вышло, что зубы полоснули по ноге.

Заржал жалобно гнедко. Мать — на выручку. Развернёт-
ся задом — да волка копытами, копытами. От такого удара,
как придётся по волчьему боку, сразу ребро хрястнет. Билась
кобылица, себя не жалея, и всё дальше и дальше уводила ра-
неного сына от опасного места. В деревню привела.

Утром увидели колхозники: лежит Барон напротив лавки,
стонет. Дядя Костя, фельдшер, сделал укол, зашил рану.
И выжил жеребёнок...

— Вы гляньте, гляньте... опять к нам правится, ровно по-
нимает, что о нём разговариваем. — Витёк улыбнулся. — Ну,
Михаил Петрович, ещё раз искупаемся?

Крепкими, отрывистыми сажёнками мерял он Сутку. А на
берегу, глядя на хозяина, заржал гнедой, с волчьей меткой
конь.

УТЯТА

По всей деревне дворы одинаковы — травой поросли. И у
бабки Марфы двор что твой луг. Вот и кажется, что утята с
горбатыми спинками плавают по траве. А ежели ещё ветерок
подует, то совсем похоже — такие травяные волны разыгра-
ются тут!

Утята инкубаторные, тоскуют по матери. К наседке при-
страются, она гонит их; к гусыне — та клювом грозит. Утя-
та знают, кому жаловаться, — бабке Марфе. Та слушает и
поддакивает:

— Знаю вашу судьбу-то, зна-аю...

Утята в том возрасте, когда не выговаривают они букву
«р» и получается вместо «кря-кря» — «кья-кья».

— Ах, шепелявые! — улыбается бабка Марфа и в одно
корытце подкладывает рубленой травы, а в другое подливает
воды.

«Кья!.. Кья!..» — радуются утята.

ДОГАДКА МИТРОФАНОВНЫ

Трофим Осокин работал весовщиком на железнодорожной станции, а жил в своей родной деревне. Дом рубленый, под железной крышей, с верандой; перед домом сад с яблонями, крыжовником, малиной, с разноцветными пчелиными ульями.

Подвыпив, Трофим хвастался:

— Работа у меня городская — по часам, а жизнь деревенская, самая здоровая.

Не любили у нас в деревне Трофима. Нет, не за его похвальбу — за другое. Ходил он на станцию километров за восемь — лесом, краем озера и лугом. И вот промышлял по дороге: то оберёт из утиного тайничка картуз яиц, то поймает зайчонка или на потеху достанет из-за пазухи белочку и давай дуть ей в носик дымом от папироски. А нынешним летом Трофим принёс в подоле плаща троих утят.

— Проворные, чертенята! Насилу поймал: плащом накрыл, — рассказывал он обступившим его ребятам.

Утята были в жёлтом с прозеленью пушке и часто раскрывали клювики, будто от тоски.

Трофим вбил кол в саду, на кол накиннул мелкаячейную сеть, а по краям обложил её кирпичами.

— У меня на свежем воздухе будут жить. До осени. А там — тяп... тяп... тяп... — И он показал, как отрубит головы утятам. — А если какой тронет из вас... Вот! — погрозил Трофим кулаком.

Ребята подавленно молчали, жалея утят.

Ходили на речку, видели: сидят утята под сетью или пьют водичку из чугунка, врытого в землю. И всё: «Пи-пи-пи...»

Жалко утят, а что сделаешь? Стережёт Трофим свою добычу.

Уже сено откосили в деревне, уже рожь комбайнами убрали. Созревал лён, духовито-терпко накатываясь на деревню запахами своими, когда тянул ветерок на жильё.

Однажды на речке Сергунька сказал друзьям:

— Утром видел за Скоблевской излучкой, когда проверял перемёт: утка своих малышей на крыло ставила. Полетят-полетят — и чмок в воду. Потешно...

— А Трофимовы полетят? — спросил Витька Водовозов.
Стали спорить: одни — полетят, другие — не полетят. Не выдержал Сергунька:

— Да как же они полетят, когда сетью накрыты! Вот кабы...

И не договорил — ребята глядели на него так, словно команды ждали.

А денька через три по деревне гульнул весёлый слух: от Трофима утята улетели.

Старуха Митрофановна рассказывала:

— Иду я на первую дойку, а они из-под сети только фыр... фыр... — и к речке. Свистят крылья... Сытые утята...

Таила Митрофановна только одно, что вроде бы в это время метнулась от забора знакомая голубая рубашонка Сергуньки... Как скажешь? А может, это был не он?



ЗЕМЛЯНИКА-ЯГОДКА

Что любит земляника?

Сразу, конечно, последует такой ответ:

— Солнце!

— Солнце горячее!..

Другие тут же добавляют: защищённую поляночку, на вырубке где-нибудь.

Ещё погадают.

А уж потом, под конец, какой-нибудь догадливый, усмехаясь, выпалит:

— Мо-ло-ко!.. Вот еда-а... Душистая! — и губами чмок-чмок.

Всё так. Всё! А главного всё-таки не сказали... Поклоны! Покло-ны! — вот что любее всего землянике. Без поклонов и не узнаешь, сладка ли, душиста ли земляника, а ежели не душиста, так почему: не росой ли, не дождём ли сбило дух?

Кланяйся, кланяйся, запускай руку в траву, не отдёргивай, коль на крапивку или молодой кустик шиповника нарвёшься, и — твоя ягода. И эта, круглая, крупная, краснее самого солнца, и та вон, с вытянувшимся носиком, переспелая — пальцем тронешь, и она сама в ладонь сорвётся, — и та, что прячет бело-жёлтый, не готовый ещё, пупыристый бо-чок за травинку.

Ягодку по яголке кидай в горстку, но и когда накопишь на добрый раз, не спеши блаженствовать; дыхни — и ты поймёшь, что в этот миг весь лес и все цветы уместились в твоей горстке...

Любой деревенский парнишка, любая тётенька не скажет тебе просто так — земляника, а обязательно с ласковой прибавкой — ягодка. А у нас, на Костромщине, её называют ещё землянкой. В честь земли, выпустившей чудо такое, стало быть.

Хитрее ягодки, чем земляника, нет. Умеет она прятаться; вот только что светила у вересковой ветки — и пропала, сгнила. Нагнись пониже — увидишь. А ещё и такой секрет есть: пройди, будто тебе и не нужна ягода, и сразу, рывком

оглянись — тут и схватишь её глазом, не успеет схорониться.

Городские ребяташки собирают землянику в банки стеклянные, а то ещё любят накалывать ягодку по ягодке на стебелёк, чтобы добыча виделась.

Деревенские — кладут в кринку или туесок и стараются не заглядывать, чтобы потом, порядком намяв спины, удивиться вслух:

— У меня на ладошку от донышка...

— А у меня по поясок кринки...

А кругом, кругом сено косят. И матери и отцы — сам видывал, сам знаю — приносят малышам в избы ягоды прямо со стебельками и листочками: гляди да запоминай, какая она, земляника-ягодка.

МАТЬ

Я вышел на крыльцо — оно у нас высокое — и стал крошить хлеб цыплятам. Все сбились ко мне, попискивают, один у другого перехватывают добычу. А наседка держится в серёдке своего выводка. Я старался, чтобы и ей перепало что-нибудь. Кидал, она кланялась, но тут же подавала голосок и крошку отдавала подоспевшему цыплёнку.

Я ещё ломоть искрошил.

Но опять ничего не досталось наседке-матери.

Всё разделила по своим деткам, а сама тоща, шея гола и на брови бородавочка.

Через месяц подросли цыплята, вышли из подчинения и, поклёвывая мои крошки, ударами клювов отгоняли наседку, мать свою.



ТЁЛОЧКА И СКВОРЧОНОК

Каждый день прихожу я купаться на Сутку — тихую чистую речку с кувшинками и лилиями в рыбных заводях.

На приречный луг выпускают не только коней, но и телят. Пасутся они с утра до вечера без пастуха: деревня огорожена, влево и вправо — кусты, впереди — Сутка, куда уйдёшь?

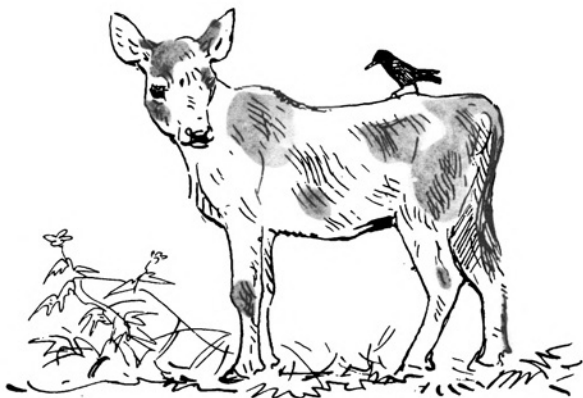
Вот здесь, на берегу, я и увидел то, о чём хочу рассказать.

В стаде я заприметил пегую тёлочку с трогательной белой мордашкой, белым лбом и смешными белыми ресницами. Звали её Полянка. У Полянки даже серёдка вёртого хвоста была белой. А приметил я тёлочку вот почему: она всегда подходила ко мне послушать транзисторный приёмник.

И вот однажды на спину знакомой тёлочки сел скворчонок. Полянка жила первое лето, и для скворчонка это лето тоже было первым. Ясно, что они до этого не встречались, и для обоих в жизни было много таинственного, непонятного и, конечно, интересного. Ну вот, например, этот дерзкий номер: скворчонку почему-то захотелось с ходу опуститься на спину пасущегося телёнка.

Полянка вздрогнула и замерла, соображая: как же поступить? Она сердито дёрнула головой, и, как две варежки, мотнулись уши. Непрошеному гостю было прямо сказано: убирайся. Однако скворчонок не только не слетел, а более того — осмелился шагнуть по её спине. Стыд перед всем стадом!

Это совсем уже рассердило Полянку. Она прогнула спину и на какой-то миг стала похожа на лодочку. На какой-то миг, потому что в следующее мгновение распрямилась и замашисто хлестнула себя и раз, и два, и три хвостом. Скворчонок взлетел. Он был явно смущён поведением тёлочки, но преодолел робость и снова сел. Сел и не прошёлся, а пробежался по спине Полянки и успел-таки поймать на её загривке муху. Ту самую муху, что досаждала с утра.



Полянка, хоть ей было щекотно, оценила услугу и, повернув белую мордашку, поглядела на скворчонка с любопытством; скворчонок был похож на головешку, усеянную белыми, серыми и зелёными крапинками. Тем временем скворчонок нашёл у правой лопатки злую блошку и достал её своим надёжным клювом.

Полянка успокоилась и тихо замычала. Она как бы первая предлагала скворчонку свою дружбу...

И вот каждый день я видел теперь такую картину: скворчонок прилетал на луг и сразу садился на пегую тёлочку. Тогда и слепням, и мухам, и блошкам, нападавшим на Полянку, не было пощады.

А что же получил взамен скворчонок от тёлочки? Ничего. Так я решил вначале. Но понаблюдав, пригляделся и понял:

а ведь и его усердие было отблагодарено. Тёлочка шла по траве и сшибала с травинок копытцами насекомых. Сворачивая, оставалось только подбирать их.

КАК ПАХНУТ ОКУНИ

Пошли мы на речку с моей пятилетней приятельницей Мариной. Поймал я первого окуня. Марина и говорит:

— Дядя Миша, дай мне окуня.

— Зачем он тебе, Марина?

— Так ведь окунь пить хочет. Я его напою в речке. Можно?

Взяла окуня, присела на бережку и стала поить.

Клевало. Я забыл и про Марину и про окуня, но моя подруга сама напомнила о себе:

— Окунь пил, пил и уплыл... Вот туда-а!..

Я ловил окуней и сажал на кукан. Марина глядела с удивлением, как окуни шевелят хвостами, но не уплывают.

— Мариш, а как пахнут окуни, знаешь?

— Супно, — был ответ.

ОБЕДЕННЫЙ ЧАС

По левой стороне речки Сутки — холмы, лесистые и в порубках. Один от другого отделён живой границей — ручейком, а где ручеёк, там и соловей.

Я тихо вышел на лесную покатую сторону холма, сел в «королевское кресло» — на широкий, с наклоном к ручью сосновый пенёк и огляделся: влево Сутка, тихая и солнечная, за Суткой ржаное поле, вправо сосновый лес, а напротив меня соседка-холм, местами с лысынами от порубок, но берёзовый и еловый подрост уже загулял.



Вдруг на склоне холма рядом с папоротниковым кустом, метрах в тридцати от меня, я заметил какое-то серое пятно, и заметил его потому лишь, что оно шевелилось. Что такое? Я замер — серое перемешалось с бело-жёлтым, а над ним то осторожно поднималась, то падала какая-то трубка. Заячье ухо? Пригляделся — зайчиха! Зайчиха и два зайчонка. Мать кормила зайчат. Прижав ушки, зайчата тыкались мордочками в бело-жёлтое подбрюшье, жадно припадали к молочным соскам.

Обеденный час был в разгаре. И какой!..

«Вот даже к зайцам применима пословица: «Когда я ем, то глу...» — я не успел закончить. На траве рядом со мной мелькнула тень. Ширококрылая. В тот же миг я вскочил, вскинул, как ружьё, палку и закричал.

Пикировавший на заячью семью коршун дёрнулся и рывком ушёл в сторону. Когда я глянул на противоположный холм, ни матери-зайчихи, ни её зайчат уже не было.

А коршун делал злые круги и махал огромными, загигавшими при махе крыльями.

БЕЛЫЕ ГРИБЫ

К Витьке Водовозову приехал дядя — моряк Балтийского флота.

На другой же день за столом заспорили племянник с дядей, кто больше грибов наберёт.

— Й-я! — шмыгнул носом Витька и поглядел на бабушку Марфу: не подкинет ли ещё на тарелку маслянисто шипящий оладушек.

— Н-нет, Витёк, я. Я! Хоть спорь, хоть нет... Местечко-о выглядел! — Дядя Петя даже прищёлкнул пальцами.

Оладушек перепал Витьке, и он, перекидывая его с ладони на ладонь, обжигаясь, пообещал:

— Ну ладно, увидим, дядя Петя! — И к бабушке: — Сметанки бы подлила.

— Можно, мужички, можно. А насчёт грибов — посчитаем, у кого будет больше, — сказала бабушка Марфа.

Они взяли короба и подались за грибами. А за околицей деревни снова поспорили — такой уж Витька! — откуда начинать поиски. Парнишка стоял за Ковальцовский бор, дядя Петя за Сончихинский лес. Спорили, спорили, да так и разошлись: Витька — в Ковальцовский бор, дядя Петя — в Сончихинский лес.

Дядю Петю лес удивил тишиной. Тишина такая, что слышно было, как стучало собственное сердце. В ельнике он сразу увидел сыроежку. Пунцовая, края заломлены, в блюдечке роса. И всё забыл.

С сыроежки и началось у него. То рыжик срежет, то маслёнок, то волнуху, то накроет семейство лисичек, а один раз подберёзовику поклонился...

Признаться, когда дядя Петя вышел из лесу, он пожалел Витьку: «Озорник, поди, зря пробегал, а будь со мной, не вернулся бы с пустым коробом».

Ещё на подходе к избе дядя Петя углядел резиновые сапожки, короб и можжевелевую палочку свежего среза.

На крыльцо вышла бабушка Марфа, приложила ладошку козырьком ко лбу.

— Идёшь?.. Ну вот и ладно... Думала: не заплутал-



ся бы — сколь годов-то не был в родных местах!.. С удачей ли?

— Так точно! — отвечал дядя Петя весело.

Он не спеша снял с руки короб, поставил на крыльцо, сел рядышком и закурил. А самому не терпелось, ой как не терпелось заглянуть, что там у племянничка, у Витьки.

— Где же грибочек наш, Марфа Ивановна?

— Да где ему быть? На речке... Слышь? Слышь, верещит поросёнком? Это он с вышки прыгать будет, окаянный!.. Вкопали в берег козлы, на козлы положили доску и сигают с трёхметровой высоты... Станем пенять, а они нам: на космонавтов готовимся... А верещит это он так, для вида, чтоб все, кто на речке, глядели и хвалили: вот, мол, тут какие храбрецы... — Бабка Марфа сняла руки с фартука, хитреца расплеснулась в глазах. — Ну, так посчитаем цыпляток?

— Пожалуйста, — засмеялся дядя Петя.

Бабка пододвинула ему Витькин короб, и смех застрял у моряка в горле: короб был полон белых грибов, с толстыми корешками, со шляпками такими золотисто-спелыми, что глаза слепили.

— Колдовство! — первое, что вырвалось у Витькиного дяди.

— И-и, Петя!.. В колдовство-то уж и я не верю... Всё честно... А ну-козь, кажи свои.

— Пойду, пожалуй, искупаюсь...

Моряк видел, как лучилось морщинистое лицо бабки Марфы, когда она сняла берёзовые веточки с его короба.

Витька был на речке. Раздеваясь, дядя Петя небрежно спросил его:

— Как это тебе удалось наломать столько белых?

— Как? Да ведь я здесь живу!.. Ну, дядя Петь, кто дальше занырнёт? Давайте! — Веснушки так и светились у него на лице.

Нет, теперь дяде Пете не хотелось соревноваться с племянником Витькой.

ВОТ ТЕБЕ И РАЗБОЙНИКИ!

Штук десять их на сером, но только не на еловом, а на сосновом пне разбойничало. Укараулили и схватили жука и ну теребить.

Показалось мне, что требовали они с пленника богатый выкуп. Пленник забыл и про свой фрак, обороняется. Муравьи обозлились и давай жука крутить-вертеть: одни повисли на усах, другие уцепились за крылья, третьи держат за ножки, а один — ну вылитый бандит! — всё норовил вонзить свои челюсти в жучинный глаз.

Ломают, гнут, дают — совсем было одолели жука, вот и потащили на муравьиную кучищу, да я заступился за беднягу, отцепил разбойников, а помятого жука посадил на ладошку, дал отдышаться и подкинул. Он и полетел. Да недалеко. Сел на еловую ветку и давай шевелить крыльями да ножками, проверять, всё ли цело.

Придя из лесу, я рассказал потешную историйку своему другу дяде Косте.

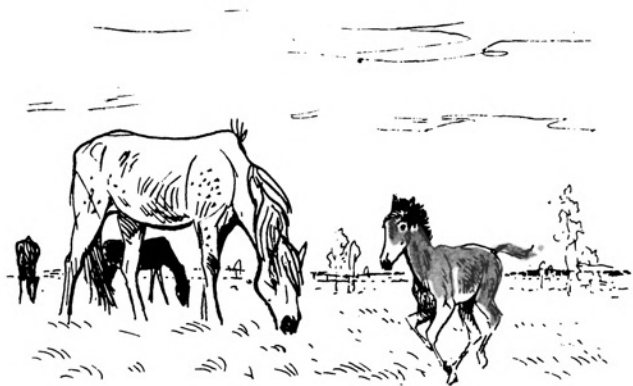
— Эх, ты-ы! Кого выпустил? Жука-короеда!.. Вот тебе и разбойники! Перепутал, всё перепутал, парень.

ЖЕРЕБЁНОК

К вечеру на приречный луг выпускали рабочих коней. С ними выходил и гнедой жеребёнок с белым мячиком на лбу.

Жеребёнок, как все малыши, принимался играть: то мордочкой ткнётся в бок матери, то зашекочет губами шею грудастого мерина, и тот, вздохнув, фыркает, то норовит пролезть под брюхом серого жеребца — дерзость невероятная! Удивительно, но наработавшиеся за день кони снисходительно и терпеливо сносили все шалости сосунка.

А он был неутомим. То пробежится по лужку, то ляжет и давай кататься. Охота ему с одного бока перевернуться через спинку на другой бок. Вот и сейчас, примяв траву, тужится, ловчится, двигает ногами, постёгивает себя хвостиком. Ррраз! — не удалось. Ещё ррраз! — и опять неудача. Обиженно вытянул из травы шею, сердясь, мотнул головой.



Я понял его. Жеребёнок хотел убедиться, глядят ли на него кони, и если глядят, то как относятся к его конфузу. Нет, они паслись. Только мать поглядывала на игрунка-сына не то с укоризной, не то с одобрением.

Теперь он ещё пуще разошёлся: раскачивается, двигает передними и задними смешными тонкими ногами с копытцами, натёртыми травой до блеска, нагибает шею, крутит хвостом. И вдруг удалось перевалиться. Заржал от радости. Заржала и мать-кобылица.

Теперь сосунок, как я и ожидал, надумал перевалиться в обратную сторону — как лежал. Раз шесть, наверно, вскидывался он. Наконец рывок оказался удачным. Но что случилось?.. Прошло захватывающее мгновение, а он держится на спинке — ни туда ни сюда. Над ним небо. Над ним — глаз уловил в небе — коршун с большими раскинутыми крыльями. Вот-вот ринется когтить. Как он струхнул! В отчаянии диким рывком перевернулся-таки, как хотел, вскочил на ноги, заржал, поджал уши, крепко взбрыкнул — вот тебе, коршун! — и припустил по луговине галопом.

Топы-топ, топы-топ, топы-топ...

Всех коней переполошил; они подняли головы и с минуту недоумевающе глядели на шалуна, соображая, что с ним. Убедившись, что всё в порядке, кони, наверно, вспомнили в этот миг, что и у них было такое же лёгкое, с шалостями детство. Только давно-давно...

КОРЯЖОНОК

Это я прозвал его Коряжонком. На речке Сутке есть у меня заветное и тайное (никому не открываю) местечко: ивовый куст, добрым чубом нависший над водой, а под ним коряга, в солнечный день видимая, а в пасмурный нет.

Коряга серо-жёлтая, рогастая, у берега прикрыта травой. Не легко тут ловить. Прозевал — и течением подобьёт удочку к коряге, а как подобьёт, считай, что остался без крюч-

ка — зацеп. За три лета я привык и знал, где была дозволенная для ловли граница: как доходит поплавок до неё, так и перекидываю.

У коряги славно брали окуни. Случалось и голавлика обмануть. Но местечко это я берёг и приходил сюда, когда нигде не клевало.

Вот тут и жил-поживал Коряжонок — окунь в полосатой матросской рубашке, с красными, как огонь, плавниками и со светлой точкой пониже спинного плавника. Прихожу, он тут, пошевеливает веслом хвоста, жабрами поводит.

— Привет, Коряжонок! — говорил я, и другие окуни уходили испуганно вглубь, под корягу, в тень, а этот презрительно пускал пузыри ртом.

Всем своим видом он показывал, что не считает меня настоящим рыболовом. Почему? Да очень просто: захочет обмануть и обманет.

Уже все лотковские ребята знали: если я у крыльца своего дома примериваю к удилищу новую леску, значит, оборвал её Коряжонок. И все мои зацепы он, бестия, подстраивал хитреcci.

Коряжонок, не в пример своим братьям, никогда не трогал крючок, когда я насаживал на него полчервяка. А при целом червяке вот какой ловкий приём применял он, унаследованный им, видимо, от окуней-дедов, тех, что мы, люди, называем уважительно лапотниками: он со всей предосторожностью, не как другие, подходил к червяку и, прицелившись, быстро и жадно трогал его губами. Поплавок при этом почти не давал никакого сигнала: чуть дрогнет, и всё. Рыбаку этого мало, будет ждать. Тогда Коряжонок зажимал жёсткими губами самый кончик червя и дерзко рвал его вниз. Поплавок шёл на утоп. Ликуя, я дёргал удочку — на крючке висел оборванный червяк.

— Тонкая работка! — не скрывал я своего восхищения и видел, как довольный Коряжонок, сделав круг у коряги, ждёт от меня ещё дармовой подачи.

Самое большее, чего я мог добиться, — это поднять умного окуня над водой: червяк был тугой, не сдёргивался, и Коряжонок для развлечения не отпускал его, а затем выплёвывал

и бодро плюхался в речку. Круги шли по воде, а он, посмеиваясь надо мной, начинал прогуливаться взад-вперёд: дескать, не думай, что ты мне причинил неприятность, это я сам захотел поиграть и поиграл...

Были у Коряжонка и ещё обманные приёмы. Ну вот такой хотя бы. Так же осторожно трогал он губами кончик червяка, так же прилаживался, потом с другим заходом брал его — и стрелой под корягу. Я дёргал. Крючок вместо упругой окуневой пасти вонзался в корягу. Рывок, другой, и леска обрывалась. В просвеченной июньским солнышком воде я видел, как к моему застрявшему крючку подруливал, повиливая веслом-хвостом, Коряжонок и по кусочку сдирал червя.

Я менял (что оставалось делать?) крючки, лески, удилища. Всё напрасно! Коряжонок вновь и вновь торжествовал победу. И рос. Теперь он превратился в порядочного окуня... Иногда он мне снился, но даже во сне не я его, а он меня проводил.

И бывало так: не выдержишь и концом удилища пырнёшь в него: «Я вот тебе, наглец, проколю полосатый бок!» Коряжонок обижался и уходил на быстринку. Пристыжённый, я ложился на траву и лежал не шевелясь. Мне было радостно, что Коряжонок ушёл, что, выждав момент, спокойно половлю, но вместе с радостью шевелилось другое чувство — хотелось ещё и ещё видеть окаянного окуня.



Рассказывая о Коряжонке, я не раз ловил себя на мысли, что горжусь им, что не будь его в речке, моя самая удачная рыбалка была бы обычной рыбалкой.

В ольховых зарослях ликовали соловьи, речка вишневила от зорьки и было тихо-тихо. И до чего же сладко снимать с крючков поворот за поворотом леску, переводить на нужную глубину с нежным скрипом поплавков и при этом думать: «Сегодня возьму настоящую рыбину... А может, и самого Коряжонка...»

У каждого рыбака есть своя любимая удочка. И у меня тоже — ореховая, лёгкая, гибкая. Такую в руке держать одно удовольствие, прицельно кинешь на любое место.

Обманы Коряжонка сделали своё дело — я всё чаще стал подумывать, а не завести ли мне новую удочку. Какую-нибудь особенную. И вот, шастая с Сергунькой Березиным по лесу в поисках грибов колосовиков, приглядел берёзовый удильник. Тонкий и длинный-длинный. Наполовину снял кору, дал вылежаться на солнышке. Ухватистый удильник вышел.

Как обычно, у крыльца я стал ладить новую удочку. Подсоблял мне Сергунька: плющил на выпуклом железном круге, вкопанном ещё старыми хозяевами, свинец на грузильце, подбирал небольшой надёжный крючок.

— Как назовёте, Михаил Петрович, свою удочку новую? — сидя на корточках, спросил Сергунька.

— Хитрой.

— А почему же хитрой?

— Гм... Потому, что теперь поймаю любую рыбу в нашей Сутке.

Тут Сергунька усомнился:

— И Коряжонка?

— Может быть... Может быть. — Но я вспомнил, что настоящий рыболов не должен говорить об этом вслух, и поправился: — Там, Сергунька, поглядим.

Ещё никогда не доводилось мне ловить так, как на хитрую удочку. Это был способ, изобретённый мною. Я отвязывал старый, долблённый из двух осиновых деревьев и скреплённый перекладинами по концам чёлн, по-местному коро-

тень, и плыл на нём. Недалече от своей коряги заводил коротень в заросли кувшинок и лилий и принимался удить. На две удочки. Босиком стоя в коротне, я закидывал сперва хитрую удочку и, когда поплавок ложился там, где мне было нужно, укреплял конец удилища в скобе кормы. Затем проворно закидывал лёгкую бамбуковую удочку и легонько принимался покачивать коротень. Хитрая удочка всё время дёргалась, поплавок пританцовывал, а червяк в глубине так азартно бесновался, что рыба не могла пройти мимо, не могла не удивиться резвости приманки, не могла преодолеть соблазна отвесть её. Брали окуни. Взгляд. И несмотря на то что я не успевал вовремя подсекать их, они не срывались. В обоих отсеках была вода, и я кидал окуней то в один, то в другой.

На бамбуковую удочку не ловилось. Вот и ещё поклёвка на хитрой — поплавок стремительно пошёл на утоп. Я спешно выдернул удилище из скобы и потянул леску. Рыбина метнулась вглубь, рванулась раз, два, и вдруг леска ослабла — неужели оборвала? Я осторожно потянул леску на себя, и руке передался короткий, но сильный толчок: «Здесь!» Теперь рыбина поняла: скрываться нечего, и разбежисто выплеснулась на поверхность. Здоровый окунище! Он тут же метнулся под листья лилий.

Одного этого мгновения было достаточно, чтобы я признал в окуне своего старого врага Коряжонка. Попал-ся-я! Сердце зашло от радости.

Коряжонек бурлил воду, боролся. И я угадал его манёвр: хочет запутать леску в лиловых шнурах лилий, чтобы я потянул и оборвал её, и тогда он и на этот раз, пусть, раз уж так вышло, с крючком в пасти, но уйдёт. Уйдёт! Что он вытворял: то вскидывался над водой, то опять уходил вглубь, то юлой крутился на месте... И запутал-таки леску, как хотелось. Начни я дёргать, так бы и было, как он рассчитал. Но не было вблизи родной коряжины, и совсем не учёл окунище, что я был не на берегу, а в коротне. Со всеми предосторожностями я упёрся веслом в дно, чуть подал коротень влево, к месту боя, и, опустив удилище на воду, дотянулся рукой к леске, обвинившей лиловый шнур лилии... Коряжонек



провёл по моей ладони наждачной твёрдости чешуёй, изогнулся, сгорбился, выставил все свои иглы спинного плавника, и я успел уцепить его за жабры другой рукой и, любуясь им, вынул у него из пасти крючок.

Было сделано главное. Конец рыбалки меня уже не интересовал, хотя вслед за Коряжонком я взял ещё трёх окуней и с добрую рукавичку сорожку. А в коротне ярился, обдавая меня брызгами, Коряжонок. Раньше я любовался им на расстоянии, но каким же красивым был он сейчас!..

Обычно я складывал улов в мешочек из полиэтиленовой плёнки, предварительно наполнив его речной водой, и нёс к Займовскому ключу. Он ручейком сбежал в Сутку. Ключ отвесно падал из жёлоба и за долгие годы вырыл ямку. Ямка была отгорожена доской — тут мыли потрошённую рыбу, и от ледяной воды она твердела.

Всю свою добычу — полтора десятка окуней с заветным Коряжонком и сорожку — я выпустил в ямку под струю ключа. Куда уйдёт, если запруда? А сам нарвал широченных листьев папоротника и сел на них на склоне оврага. На-

до мной была старая черёмуха. Ягоды на ней налились и потемнели. Я был доволен: поймать — дождался-таки! — такого хитреца, как Коряжонек! Не шутка!..

Ключ ворковал, и ворковал беззаботно.

А потом я достал острый нож и пошёл к ямке. И... и... обомлел — Коряжонка не было. Что за чертовщина! Не улётел же он!.. Я оглядел запруду со стороны ключа и со стороны ручейка. Под замшелой доской была щель. В эту щель и ушёл Коряжонек. Навсегда осталось для меня загадкой: сам выкопал этот лаз или и на этот раз улыбнулось счастье. Все окуни и сорожка здесь, а он улизнул...

Никогда я ещё так не волновался, как в тот вечер, когда торопливо шагал на рыбалку, к ивняковому кусту с корягой. «Там он или нет?»

Я пригляделся и увидел знакомый корпус с тёмными полосами, огнистыми плавниками и светлой точкой пониже спинного плавника.

Я выбрал из банки самого большого червя и кинул ему.

Но окунь даже веслом-хвостом не вильнул. Обиделся? Нет, всем своим видом он презирал меня, рыболова.

ЁЛОЧНЫЕ ЯСЕЛЬКИ

Обычно из своей деревни я всегда один ходил в школу, раньше ребят. Когда наезженной дорогой, когда тропкой, — в лесу она спрямляла путь.

Первое время я очень стеснялся: придёшь в школу, а штанины почти до колен сырые. А у ребят, гляжу, сухие. И не выдержал, спросил:

— Как это вы умудряетесь не обрызгаться росой?

Отвечают:

— Так мы штанины-то до колен засучиваем.

Вот и сегодня из деревни вышел в своё время, но по дороге нагнал Сергуньку Березина: он телка в стадо отгонял.

Сергунька шагает первым, я — за ним.

— Гляньте на ёлку, Михаил Петрович, тут белка живёт. На развилинке гнездо. Уже грибами набила. — Повернул голову, блеснул голубыми глазами. — Мы лазили туда из-за интереса, но не разорили...

Дальше шагаем. Сергунька ткнул рукой:

— Вона... вон под теми ёлочками рыжики водятся. Они всегда растут целыми классами, честное слово! Они по одному не любят.

И не заметил я, как взяли мы с Сергунькой половину до-роги. Вот он, Седунец, — увал так называется. На склоне этого увала сосны, ели да берёзы растут, а только когда поднимешься на макушку увала, ты выше их вершин.

Сергунька остановился, победно глянул сверху на деревья.

— На Седунце, Михайло Петрович, почему-то себя птицей чувствуешь, будто летишь. Правда? А вы сюда, сюда поглядите, в сторону оврага! Что видите?

Седунец делился оврагом, и на правой стороне его деревья не росли. Я приглядывался и не знал, что же выделить из того, что видел: ёлочки, траву или тени?

— Да ведь тут, — не утерпел Сергунька, — настоящие ёлочные ясельки. Правда ведь?

И в самом деле: весь склон был усыпан крохотульками-ёлочками, такими нежными ельчатами-зайчатами, зелёными до синевы, и у каждой обозначилась вершинка-пальчик и поперёк него отросточки, получился знак «плюс». И сколько же этих ельчат было! Вот поднимется лес, не позволит оврагу шевельнуться. А я ходил и не замечал!

И тут мой ученик решил прѣкзаменовать меня.

— А скажите, Михайло Петрович, откуда они взялись, эти ельчата?

— Как откуда? Выросли из семян, разумеется. Сами по себе.

— Ха-ха-ха-а... Сами по себе? — Сергунька прищурил левый глаз.

— Возможно, ветер, возможно, птицы занесли... — Но в моём ответе не было достаточной уверенности.

— «Ветер... птицы...» — с нескрываемой радостью повто-

рил Сергунька и, выждав момент, сразил меня: — Мы посадили!

— То есть как это? Кто «мы»?

— Знамо, ученики ваши, лотковские: Витька Водовозов, Алёнка, я... другие ребята. Идём, наберём шишек еловых в карманы и с Седунца на уклон оврага давай швырять-посхвыривать... А хорошие ёлочки, правда?

ПЁС ПО КЛИЧКЕ ШУМОК

— Шума-а!.. Шума-а!..

В этом отрывисто-звонком голосе есть всё: мягкая ласка, доверие, обещание. Это голос Сергуньки Березина.

Я пододвинул стол к раскрытому окошку и проверяю тетрадки. День по-летнему солнечный, тёплый. Мне не виден Сергунька, но я догадываюсь, что он у сельмага и, наверно, хочет поделиться чем-то вкусным с Шумком. Сейчас Сергунька будет свистеть. Так и есть:

— Фи-ить, ффи-ть, ффи-ть!.. — А за свистом следует повторный призыв: — Шума-а, Шума-а!..

Услышав голос хозяина, Шумок, где бы он ни был, срывался с места. И вот уже проулком или тропинкой на предельной скорости летит чёрная крохотулька-торпеда. Никто не сможет её остановить или изменить её направление.

Шумок быстро подружился со мной. Собака чутьём угадывает в каждом новом человеке, друг он или нет, и ведёт себя или по-дружески, или враждебно-насторожённо.

Шумок видел, что мы с Сергунькой и на речку шагаем вместе, и с речки, вместе удочки ладим у нашего крыльца, покрикивая, подшучивая друг над другом. И после каждого обеда ему перепало.

В лес идём, и Шумок с нами — свечой взлетает над травой, над шелестящими серьгами овса. Мал пёс, а хочется ему знать, что там впереди, и быть готовым на всякий случай.

Случалось, что Сергунька ни с того ни с сего гаркнет:

— Бери! Шума, бери!..

И собака, даром что она не охотничья, а самой массовой дворняжьей породы, на миг замрёт, вслушивается и вдруг дико сорвётся с места, прыжками полетит вперёд и, глядишь, вспугнёт то перепела, то сороку. И резво гоняется за ними, надрываясь от лая.

А вот чего не любил Шумок, так это купаться. Соберёмся — и он с нами. До Займовской полгоры бежит впереди нас, потом юркнёт в кусты, для отвода глаз полает и затаится. Позовём его: «Шумок!.. Шума!» — глядь, а он уже сзади нас. Сидит или лежит. И всем своим вялым, сонным видом как бы скажет: «Разморила жарница, оставьте меня в покое. Неохота идти дальше».

Тут Сергунька примется медок лить:

— Шума... на, на, на... Иди, Шумик, Шумик... Ну что ты, Шума... Честно, дам... Вот! — И руку в карман.

Ни с места Шумок. Только над глазами две жёлтые запятые насторожённо задвигаются да хвост постёгивает траву. Сергунька — сплошная улыбка. Он возвращается, рывком падает на собаку и, пленённую, вздрагивающую, несёт на руках к речке, оправдываясь передо мной:

— Зимой Шумка мне отец принёс. Вот и не приучил я его купаться... Ну чего рвёшься, глупый, жара ведь... Понимать нужно!

Но Шумок не внимает словам Сергуньки, а начинает поскуливать. Тогда босоногий Сергунька прыгает в долблёный чёлн. Теперь Шумок знает, что неминуемо будет: хозяин раскачает его и швырнёт в реку подальше от берега. И будет хотать — вот что обидней всего! А Шумок, бултыхнувшись, примется сердито вытряхивать воду из ушей и тонкими, как барабанные палочки, передними ногами бить и бить по воде и с вытянутым хвостом станет длинным и жалко-смешным. Попробуй тут плыть на хозяина — снова окажешься в речке. Шумок правит за ивовый куст. На берегу несколько раз с неудовольствием отряхивается и... дёру. Даже магический Сергунькин зов теперь не поможет вернуть нам Шумка.

Однажды, обсыхая на солнце после купанья, Сергунька спросил, скрывая в голосе тревогу:

— Собаки долго живут, Михаил Петрович?

— А что?

На спине Сергуньки от тяжкого вздоха выпятились острые лопатки. И я понял его.

— Школу кончишь, а Шумок всё будет у тебя. Армию отслужишь и знаешь, кто после долгой разлуки встретит тебя на Займовской тропе?

— Шумок! — Сергунька улыбался.

— Шумок, дружище.

Сияющий Сергунька вскочил и закрутился на пятке...

Шумок провожал Сергуньку в школу. Шли они через луг, через лес. По лаве переходили ручей Кичёмку, потом через поле. У школы расставались. И не раз бывало — Шумок оставался ждать, пока хозяин отучится.

Сергунька в тепле, ему весело: пишет, считает, получает, какие заслужит, отметки, резвится на переменах, а Шумок ждёт его. Ждёт на ветру. Под дождём. В метель. Забьётся под школьное крыльцо и чутко дремлет. Или уляжется под старый колхозный амбар и поглядывает: не выскочит ли хозяин проведать его на перемене, не вынесет ли что-нибудь.

А если Сергунька раньше обычного выбегал с портфелем из школы, Шумок, радуясь, повизгивая, подлетал к Сергуньке и прыгал, стараясь лизнуть его в подбородок или щёку.

— Шума, Шума-а, — ворковал Сергунька, и гладил пса, и подхватывал на руки, и, выразив благодарность за терпение, опускал на землю.

Довольные, что опять вместе, они отправлялись домой, в Лотково.

И вот второй день Шумок ходит в героях. Даже в соседних деревнях говорят о нём, хвалят.

А случилось вот что: Сергунька с Шумком, как обычно, шагали в школу, в соседнюю деревню. В поле паслось совхозное стадо. Ближе всех к просёлочной дороге, вскинув морду с мокрым кольцом в ноздрях, стоял громадный бык Лимон, светло-пегий и злой. Сергуньке бы пройти попроворней мимо быка, и всё. А парнишке почему-то захотелось отогнать его. Размахнулся и швырнул в Лимона надкушенным



яблоком. И попал прямо под кольцо. Лимон рыкнул, хлестнул себя хвостом — и на Сергульку.

— Шума-а! — успел крикнуть Сергулька.

Шумок сразу понял, какая страшная беда грозит его хозяину. С лаем, весь взъерошенный, рванул он на Лимона, норовя схватить за губы. То наскакивая, то отскакивая, повернул быка от Сергульки, шустро прошмыгнул под брюхом и вцепился в заднюю ногу. Лимон взревел и, разъярившись, закрутился на месте, стараясь поддеть собаку на рог.

А Шумок, рыча, взвизгивая, прыгал, увёртывался и не отступал от быка. А тот уже позабыл про обидчика, который с портфелем драпанул в лесок и оттуда звал свою собаку.

Услыхав своё имя с привычно ласковым зовом «на, на», Шумок не бросился прямо к хозяину (иначе бы и Лимон не отстал!), а схитрил, сделал вид, что поспешно отступает назад, к стаду. Лимон — за ним. В стаде Шумок увильнул от быка и быстрёхонько подался в лес, к Сергуньке...

Вспомнив всё это, я выхожу на крыльцо и громко кричу: — Сергунька-а! — и машу рукой, зову к себе.

Опережая хозяина, на тропу выметнулась чёрная крохотулька-торпеда — Шумок.

ШЁЛКОВЫЕ УШИ

Заяц знал эту бабку — она из соседней деревни. Бабка с кузовком в руках шагала по затвердевшей от солнца дороге. «Землянику на берёзовых порубках собирала», — догадался заяц и, не остерегаясь, выметнулся из овсяного поля.

Ахнула бабка:

— Окаянный, насмерть перепугал!

Заяц остановился, поглядел на бабку, ловким прыжком перекинулся через дорогу — зачем расписываться в дорожной пыли, что ты был тут, — и скрылся в овсах, таких же жёлто-серых, как сам.

— Ну ловкач! — подивилась бабка.

В её голосе заяц не уловил ни угрозы, ни осуждения.

Бабка ушла. Прислушиваясь к её шаркающим шагам, заяц удобно примостился на новом месте. Если бы он знал, что случится спустя час после встречи с бабкой, то и минуты не сидел бы здесь, а махнул бы сразу или на край овсяного поля в лощину, или в лесок.

Бабка завернула к сельмагу (тут всегда находились охоты до всяких новостей), похвалилась перед соседками, сколько набрала ягод, разделила горстку землянички малышам и вдруг вспомнила:

— Давеча диво видела: выбежал ко мне заяц-овсянец, гладкий, серый, с моего козлёнка.

Оживился дядя Костя:

— Куда ж тот овсянец делся, Марфа?

— А опять к себе, в овсы.

Так бабка Марфа и нарекла зайца: Овсянец.

Дядя Костя, ничего больше не сказав, отошёл от женщины...

Сквозь дрёму заяц вдруг услышал:

— Ах вот где он скрывается! Как же мы не встречались раньше!

Заяц встрепенулся, сразу догадавшись, что это голос охотника, и вскочил.

Сильный, красивый, спина с горбинкой. По овсу поплыл, как по воде. Хотя в руках человека ничего и не было, заяц отбежал от него на расстояние выстрела, затем с опаской вернулся к дороге, присел, затаился, поставив большие, просвечивающие на солнце уши в дозор, сердито стряхнув с левого муху.

— Мы ещё встретимся, Овсянец, — пообещал дядя Костя.

Заяц напрягся, запоминая голос — хрипловатый, старческий, пропускавший каждое слово с заминкой.

Охотник пошёл лёгкой, неслышной походкой, и не к своей деревне, как ожидал заяц, а к соседней.

«Он ушёл от меня, как улетел. А если он так же бесшумно и придёт? С ружьём? И мои уши не уловят ни скрипа сапог, ни дыхания охотника?» Тревога охватила зайца.

Легли на овсяное поле вечерние тени, перестали петь жаворонки, порозовело небо. Заяц лизал росу на траве, как вдруг опять невдалеке послышались знакомые шаги охотника.

«Это он возвращается домой», — догадался заяц.

Заяц замер и ни одним движением не выдал, где он.

Вот и ещё одним врагом стало у него больше. Охотник, поди, и знать не знает, что за ним, самым большим и сильным зайцем с овсяного поля, два лета и две зимы гоняется лисица с Кичёмкинского оврага; она живёт в норе под корнями старой сосны. Заяц знает все её хитрости и все её до-

роги. И уходит. Иногда легко, иногда трудно.

Прошлой осенью ребяташки из той самой деревни, куда ушёл охотник, наткнулись на нору, сбегали за топором и загородили выход ольховым частоколом. Как же они, глупые, не догадались, что у лисицы был ещё один, тайный выход через куст бузины? На кольях, вбитых в землю, поселился паук, за одно утро выткал свою сеть, и ребяташки, наведавшись к норе, подумали, что тут никто не живёт, успокоились и ушли.

Зайцу понравилось его новое имя — Овсянец. Мать родила его и сестрёнку в овсе, на этом самом поле. Он сразу же, как обсох, научился бегать, таиться, спать с открытым глазом, глядеть и слушать. Бегать проворно, как ни один зверь не бегает в его родных местах. Таиться так, что враг рядом пройдёт, а не откроет, где он. Глядеть, сразу всё замечая и оценивая, откуда угроза, как миновать её. Слушать — до боли остро, мгновенно определяя расстояние звука: таякнула собака — в деревне, зевнула лиса — за вересковыми кустами, ухнул филин — на сухой ветке сосны в Кислом урочище.



«Заяц рождается с хитростью, — наставляла его и сестрёнку мать, — и умирает, как только теряет её».

Овсянец вспомнил свою первую хитрость. Они с сестрёнкой быстро росли. Он любил сестрёнку, менялся с ней у сосков матери, играл в догонялки, знакомился с полем и лесом, прятался от врагов.

Однажды утром на их овсяное поле, тёплое и сытное, приехала какая-то большая машина, загудела и пошла кружить. От каждого её заезда поле становилось всё меньше и меньше, будто его стригли. Матери не было, и они страшно перепугались. Он звал сестрёнку бежать в лес, а она отказывалась, боялась. Машина уже подбиралась к ним.

«Бежим!» — сердито приказал он сестрёнке. Он первый высоко вскинулся над овсом, чтобы разглядеть дорогу, и полетел. К лесу. А за ним — сестрёнка.

— Зайцы-ы! — весело крикнул человек на машине.

Но они выкатили уже на пригорок и нырнули в кусты.

Овсянец, как все зайцы, жил и справлял свои обычные дела ночью, а днём отсыпался. Меньше глаз видят, меньше врагов. Но в тот раз случилось так, что его в овсе открыли мухи и так пристали, так надоели, что пришлось менять место. Он поднялся, чтобы перебежать поле, и тут его и углядела бабка. Он не боялся людей летом и не придавал никакого значения тому, что его открыли. Выходит, зря. Бабка прислала охотника. Пришёл тот старик поглядеть на него и запомнить. Охотник часто ходил дорогой через овсяное поле. Даже если лил дождь. Заяц не знал, что старый человек был лекарем и его часто вызывали то в одну, то в другую деревню. Заяц же казалось, что охотник приходит на овсяное поле, чтобы узнать, тут он или нет.

И как только Овсянец уловит знакомые шаги на дороге, так и затаится.

Однажды он почувствовал запах ружейного масла, смешанный со слабым запахом табака, и понял: старик готовится к охоте, к встрече с ним. И ещё заяц с грустью подумал, что скоро осень — время больших тревог для него.



Скосили овсяное поле. И все другие поля скосили. Заложилось небо. Пугая, зашуршал, зашептал под ногами опавший лист.

Морозы ударили без снега. Поля стали просторными и тихими. Улетели птицы, перестали докучать голоса людей. Исчезли до весны многие запахи. Теперь дерево пахло не цветами, не листьями, а корой; земля — не васильками, не ромашками, не одуванчиками, не лебедой, а только землёй. И над всеми запахами был свой, главный — запах мороза. Всё стало проще, видней, а вот заволновался Овсянец. Зимы боялся или встречи со старым охотником? Нет, волновался он совсем по другой причине: сам порыжел, а задние ноги, поди ж ты, и на этот раз оказались в белых штанах. Каждый приметит сороку, потому что белобочка. А его? В белоштанном наряде далеко видно. И приходится хорониться в берёзовых опушках, а на «днёвку» прятаться, каждый раз изобретая всё новые и новые места: то в костёр хвороста, то в ёлочную густель, то под стожок сена, то в кусты лозняка на бере-

гу речки Сутки. Как можно меньше прогулок — уже охотники рыскают по полям, по лесным опушкам. Уже дважды издали Овсянец видел старого охотника и порадовался, что тот бродит без собаки. Так-то легче провести. Глаза видят, уши слышат, ноги бегают.

Перетерпел, пережил Овсянец трудное время — выдала зима белую, тёплую, лёгкую шубку. Попробуй угляди, где снег, а где заяц. Радоваться бы, да ведь он не первогодок, знает: пролетел вихрем через овсяное поле, а за тобой следок. Будто расписался, что был здесь. А охочих читать заячью грамоту ой как много!

Морозно. На опушке берёзового островка тявкнула лисица с Кичёмкинского оврага. Овсянец, повернув голову, прислушался... Напала на след, скорее наутёк!

Как ни хитрил, как ни петлял беляк, лисица не отставала. Она гоняла его весь вечер и с малыми передышками всю ночь. Отощал заяц, ноги устали, в голове зашумело. Только к утру отвязался Овсянец от настырной лисицы, пожевал сухой травки и залёг в снег близ тропы, по которой ребята ходят в школу. Уснул. Тут выпал новый снежок и прикрыл Овсянца. Тепло ему. Сладко спится...

О том, что было дальше, Овсянец мог только смутно догадываться. Если бы он, самый сильный и хитрый заяц с овсяного поля, обладал даром понимать человеческий язык, только тогда перед ним открылась бы во всей подробности страшная картина того самого зимнего утра, когда он ушёл от лисицы с Кичёмкинского оврага и, усталый, лёг спать.

Вот бы какой рассказ услышал Овсянец о себе самом, и не от кого-нибудь, а от старого охотника дяди Кости.

— С тропки углядел я Овсянца — по открытому глазу. Спал хитрец с открытым глазом в норе. Со мной был учитель, Михайло Петрович. Поставил я его на тропе, велел быть наготове, не двигаться, не курить, не шуметь, а сам, пригибаясь, тихо-тихо приблизился к норе. Ружьё опустил на снег и изготовился схватить зайца... Того будто кто толкнул в бок: проснулся, а перед ним я, собственной охотничьей персоной. Такой, братцы, ужас колыхнулся в круглом, с красной заячьей глазе! Жуть! Некуда отступать! От лис уходил.

от собак, от охотников, а тут без выстрела, без угрозы смерти пришла... И только, страсти мои, хотел я упасть на зайца, чтоб подмять его в снежной норе, Овсянец и прыгни... На меня. Учитель не даст соврать. Больше ему некуда было прыгать. опередил охотника. И угодил лапами в живот мне. Тут я и успел схватить зайчину варежками за длинные уши. Схватил, приподнял в воздухе и вскрикнул с превеликим ликованием перед дружкой: «Он!.. Овсяне-ец! Гляди, Михаил, чёртушка какой!.. Без ружья взял добычу-то!..»

Овсянец брыкался, плясал на весу, тя-я-жёлый, да как упрётся задними ножищами в мой полушубок, да как рванётся изо всей силы, да как дёрнется — уши-то его и выскочили из моих варежек. И-и-и... взметнулся от заячьего скачка снег.

Ох-хо! Упал я на снег, лёжа трахнул из ружья вдогон. Да где там — мимо. Руки дрожали. Скрылся мой Овсянец в снегах. В заячьих, белых снегах.

Сдерживая смех, лотковцы допытывались у охотника:

— Так как же ты выпустил зайца?

— «Как же, как же!» — сердито отвечал дядя Костя. — Уши-то у него были ровно шёлковые — выскользнули...

Был Овсянец в руках старого охотника и ушёл. Шёлковые уши выручили.

ДЯТЛОВА КУЗНЯ

Брёл, брёл и набрёл на дятлову кузню. Что он тут выковывал? А сейчас разглядим! Весь снег под великаншей-сосной усеян бронзовыми блёснами. Вот на такие бы блёсны и окуньё, и шуки, и лещи кидались бы. А только это не блёсны, а чешуйки от шишек. Тут и сами шишки — помяты, с ошипанными бочками, иные наполовину снегом занесены.

Где же кузнец? Может, на прогулке после обеда, может, на важном дятловом совещании? Подручные видны, а главного нет. За подручных у него синицы — то ли разыскивают корм на ветках, то ли порядок наводят. А скорее всего, ждут,

что вот начнётся привычная работа и кое-что им перепадёт.

Я уже собирался идти дальше, как кузня опять заработала. Дятел вернулся с шишкой, повозился, приспособиваясь, уладил её на наковальне, а попросту на развилке сосны, и ну ковать-долбить.

Он был упорен и добр, этот дятел-кузнец, потому что когда зернинка выпадала, не кидался за нею, а великодушно уступал синицам.

Каких-нибудь три минуты потребовалось мастеру, чтобы заменить обработанную шишку новой.

От дятловой кузни, наверно, веселее было птицам, зимовавшим в лесу: раз он работает, и мы не должны сидеть без дела; веселее было деревьям: кто-кто, а они умели слушать рабочие звуки; зверям — этих бодрила неутомимость дятла...

Но что это? Кузня моего дятла молчала, а где-то рядом заработала другая дятлова кузня. Услыхав её, мой дятел замолчал прибавил старания.

Так и шёл я просекой под перестук двух кузниц.

ВЗРЫВЫ НА СНЕГУ

В лесу, хочешь ты того или нет, глаз у тебя становится зорче, слух острее, идёшь с опаской. Вдруг провалишься в медвежью берлогу? Хотя где они, берлоги эти?! Или из ельника, занесённого снегом, ринется на тебя тощий, зубастый волчище? Да что волчище — лось и тот может выкинуть номер, он ведь теряет сейчас свои рога, без меры нервничает, стыдится, как лосиха примет его, комолого, и потому рассчитывай и на эту неприятную встречу. Ох, хлёсткие копыта у лося! И всё равно тянет тебя туда, где опасней.

Ели, сосны... Изредка берёзка попадётся на пути. У неё сейчас кора ещё нежнее, чем летом, а серёжек сколько! Вот кормёжка глухарям!

Я вышел на поляночку и остановился поражённый — иные



ёлочки только маковку выкинули из снега и ею шупают день, иным по грудь сугробы преградили дорогу к свету...

И вдруг взрыв! Один, второй, третий! Взорвался, взметнулся снег, ослепил, и только слышу — ффуррр... ффурррр... ффурррр... Будто осколки над самой шапкой. Одного, может, из двенадцати одного всё-таки углядел: выше ельника красивым махом шёл рябчик.

Поглядел на взорванный снег, подобрал рябенькое пёрышко. Так вот какая крыша была над вами сегодняшней ночью, рябчики!

Долго-долго оседал, искрился снег, а я всё не верил, шупал снег, где таились птицы, и всё мне казалось, что найду тёплый снег.

ЛАСКА

Я подходил к лесному озерку, когда заметил вдруг на снегу след, но чей он был — мыши, белки или ещё чей, — не понял. Огляделся и неожиданно для себя увидел ласку, и увидел только потому, что она, вся белая, в зубах держала мышонка и дёргала головкой. Длинная, тонкая, шустрая, она выжидала, куда я пойду. Если на неё, так сразу удерёт. Если в сторону, переждёт опасность. Самое главное — уберечь добычу в зубах... А я не шёл, я стоял и глядел на неё. И это взволновало зверька.

Ласка развернулась, — я видел, как по снегу прочертил хвостик мышонка, — и, разрывая грудкой снег, помчалась к озеру.

Сильный толчок палками, и я полетел на лыжах по откосу за нею. А зачем? Сомневаюсь теперь, что я рассчитывал догнать молниеносную ласку. Но вот что дивно — она на глазах провалилась. Была и пропала. Провалилась сквозь снег, но куда? Озерко было надёжно прижато льдом, и только в одном месте, как раз там, где пропала ласка, лёд при замерзании покорёжило и приподняло, — чем не горница для ласки?

Все хотят жить. И я корил себя за то, что в лесу не послушался своих умных лыж: «Тишше... тишше».

Вот, оказывается, где живёт в морозы и метели зверёк, которому люди дали такое красивое имя — ласка.

ЕЩЁ ОДНА УДАЧА

У деда Степана умерла бабка в сенокос. Остался дед один. Потихоньку шорничал в колхозе, собирал грибы, читал журнал «Пчеловодство» — вот и все заботы.

Осенью, когда затвердела земля, отнёс в соседнюю деревеньку племяннику ружьё и капкан:

— Бери, пользуйся.

— А сам? — улыбнулся Григорий. Уж больно ветхими показались ему ружьишко с капканом.

Улыбка вышла обидной. Дед отказался от угощения, заторопился домой. Шёл то лесом, то полем и всю дорогу корил племяша: «Другой бы, приличия ради, спросил, подивился: «И этим ружьём и этим капканом ты больше всех в колхозе пушнины добывал?» И ведь знал, что так оно и было, а не спросил. И-и э-эх!..»

На выходе из Колодинского оврага дед Степан выпугнул зайца, большого, сытушего. Заяц, к удивлению охотника, не кинулся наутёк, пересек дорогу и сел за пнём.

— Ну и хитрец, — сказал дед. — Неужели ты подглядел, когда я нёс ружьё и капкан?.. Ладно-о! Теперь я тебе не вредный. Ходи свободно.

И когда снег лёг, и когда ринулись морозы, дед Степан не жалел, что не ходил на охоту, хотя вспоминал и давние-давние и недавние свои удачи. И вздыхал: «Вот бабку мне жалко больно».

Бывало, бабка удивлялась, хлопотала, ахала, а он, прислонив к горячей боковинке печки ладони, снисходительно и ласково поглядывал на неё. Повертев глухаря, покачав на руке, бабка находила выход дробинки и складно причитала: «Ты уж прости мово деда, погорячился. Вот и выш-ло-о не-складно». А лисиц гладила по голове, как котят, и попрекала: «Все хвалят вас — хитры-хитры-ы, а вот умишка-то и не хватило. Обмишурил старик-то мой. Но ты уж не обижайся, извиняй его».

Бывало, охотник пустой приходил, но бабка не корила его. Глядела жалобно, словно хитрые зайцы, проворные лисы и ворчуны-глухари провели и её вместе с дедом.

«Садись к столу, щец тебе горячих подам. В другой раз принесёшь».

Дед Степан быстро старел — чувствовал по ногам: чуть откатится мороз, ноют — спасу нет.

Эта первая без охоты зима казалась ему долгой.

А тут слух прошёл: объявилась в их местах лисица, какой никто никогда не видывал — без меры хитра и сильна и буд-то бы пришла сюда из вологодских лесов. Трижды пощупала



птицеферму, расчётливо миновав капканы и во второй и в третий свой приход, а злой сторожевой пёс словно зачарованный глядел на её проделки и, к удивлению всех, не подал даже голоса.

Потом лиса пересчитала кур у охотника Налимова из Се-нежек, потом погостила у гусей бабки Шамовой из Глинок, и свирепый гусак — дед Степан знал его — понравился ей, унесла.

Всю ночь деду снилась лисица, он гонялся за ней и не-стигал, её можно было легко достать выстрелом, но он никак не мог найти ружья. А в лисьем оскале был открытый вы-зов.

Он проснулся и подумал: «Я убью её, эту хитрую лисицу».

С печи деда подняла птичница Настя Стожарова. Была она в шубе и валенках, пахла морозом и молоком. Настя ждала третьего ребёнка и одевалась тепло.

— Я за тобой, дед Степан.

— Куды зовёшь?

— Проведала и нас рыжая чертовка. У Вербиных двух курочек своровала. Уже неслись, жалко... Мне вчера на со-

вещании уленковские и сенежские наказали: «Попроси ты деда Степана, пусть, мол, отвадит...» — сказала Настя.

Дед обулся на печи и только тогда слез.

— Молодые стрелцы есть... Тот же Мишуха Налимов.

— А-а-а! — отмахнулась Настя. — Не больно заставишь их гоняться за лисицей!..

Дед в то же утро сходил к племяннику Григорию. Из ружья его так никто и не стрелял, а капкан валялся в сенцах под лавкой. На лавку ставили ведра с водой, плескали, и капкан сильно заржавел. Поругать бы Григория, да не было его дома. Проходил ученье на каких-то механизаторских курсах.

«Ну, всё. Больше ни ружья, ни ловушки не получит. Витьке Водовозову отдам, парнишка так и выёлся возле меня. Во всём помощник: сырмятину ли на полосы раскромсать, droвишек ли наколоть. И всё пытается про зверей да про птиц. Витьке и отдам...»

Лесная дорога зимой завлекательна. Вот молодые лоси озоровали: упёрлись лбами, пробовали друг друга спихнуть. Утоптали снег. Один сохатый оставил на месте схватки жёлтые галушки, второй — клочок шерсти. А под этой старой сосной свежие россыпи снега. Что тут такое? Белка прыгала и обвалила.

Дед Степан завернул к Вербиным, взял куриное крылышко и лапку. Дома он вычистил ружьё и капкан. Пожалел о бабке — она ему всегда подсобляла собираться на охоту. Теперь вот сам. Сходил в кладовку за старой лисьей шкурой. Подержал шкурку на печке, а как стала тёплой, привязал на поясицу перед походом. Взял ружьё, капкан, надел широченные промысловые лыжи.

Задами дед вышел к заваленному снегом ручью. Проехал не спеша берёзовой опушкой, а тут и ржаное поле с полузанесённой снегом скирдой соломы. И сразу повезло — напал на след. Снег был синим и мягким. Даже заметённый хвостом лисий след был крупен и глубоко уходил в снег. «Сытая, однако, голубушка!»

Он шёл тихо и думал: «Зачем сюда пришла? Мышковать, приглядеть, нет ли куропаток? А может, отоспаться?»

и — вон из круга. Рванулась в голубое небо.

Теперь во всей стае смешались от возмущения голоса. И будь тут одарённейший птичий судья, всё равно не разобрался бы, кто же и о чём кричит. Резче других, пожалуй, выделялся голос крупной крылатой чайки с шоколадным носиком. Она всё твердила про какие-то чары.

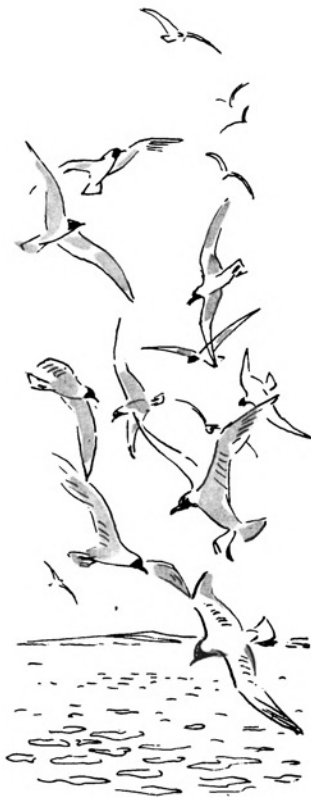
«Чары... Ччары... Ччччары!..»

Может, у неё эта непослушная чайка отбила дружка?..

Вдогонку за беглянкой кинулись два молодца — свистят серебряные крылья... Гляди-ка, настигают! Вот-вот ошиплют хвост! Но та, дерзкая, вдруг без единого маха крыльев, только упруго дёрнув тельцем, ринулась вниз. Да так поспешно и круто, что преследователи растерялись и проскочили мимо, не сумев вовремя тормознуть.

Озорница пала к самой воде, угодив как раз в центр хоровода.

«Ничего... Нич-чего... Нич-чего...» — успокаивала она подружек и как ни в чём не бывало стала водить по кругу, кидаясь то к одной, то к другой из них.



МАНЯ

Мать-лисицу собака моя Ратай взяла у самой норы. А дочку её я вытащил за воротник. И пихнул за пазуху: хороший подарок ребятишкам.

Так за пазухой и домой принёс. Ратай заглядывал, заглядывал и отстал — он, видимо, счёл унижительным для себя идти рядом со слепым лисёнком, хоть его и нёс хозяин.

Лисёнка называли Маней. Он был глуп, одинаково приветлив со всеми и пил пока только молоко.

Мы держали Маню в избе и осень и зиму. Маня выросла, стала пушиста. У неё появились свои привычки. Очень любила спать на мягком. Неженка страсть какая... Думаете, на соломе укладывалась? Как бы не так!.. Даже периной пренебрегла — сущая принцесса на горошине.

При мне (меня она ничуть не стеснялась) вспрыгивала на кровать, а с кровати — на подушки. На верхней, третьей, ложилась. Колечком. Такая большая спело-жёлтая баранка украшала подушку.

Я, бывало, проверяю тетрадки и нет-нет да и приподниму голову полюбоваться золотистым колечком на розовой подушке. А ежели в горнице бродит солнышко, красота завлекательная... А вот жена, знаете, свирепо хлестала веником по этому золотистому кольцу, если Маня не успевала вовремя спрыгнуть. Хлестала и на полу, грозилась выдворить Маню в сарай.

Тут я заступался за Маню.

— Так в сарае же куры, — возражал я.

— Тогда в кладовку эту барыню! — сердилась жена.

— А в кладовке баранья тушка...

— Тогда выпусти её!..

— Ладно, ладно, — обрывал я расхаживающую жену.

Для Мани лакомей всего было печенье. Ребятишки приучили её за печенье даже служить. Маня распускала во всю длину по полу свой пушистый хвост и становилась на задние лапы, а передние скрещивала, глаза же сияли так просяще-плутовски, что не хочешь, а угостишь.

Гулять мы ходили с Маней на поводке.



— А ты её отпусти хоть разок! — ехидно советовала жена.

— Собаки разорвут.

— Со-ба-ки-и-и!.. Скажи, боишься, что сбежит!..

Вижу, придираться стала жена к Мане, меня попрекать. Раз поссорились. И ещё раз. А тут снежок выпал. У моей лисоньки, вижу, глаза загорелись.

Однажды ружьё взял, Маню на поводке. Пошли в поле. А жена вдогонку:

— Ежели кинется удирать, пальни, пальни!..

Вышли к картофельному полю. Снял ошейник с Мани. Поглядела она на меня, понюхала, сделала два шага и, словно поняв всё, села.

— Гуляй, лиса! Смело гуляй, Маня, ну...

От припорошённого снегом ельника потянул ветерок — холодный, лесной, пахучий. Погладил Маню, её шёрстку солнечную, и будто шепнул что-то. Напружинилась и пошла рысцой. К лесу. И даже ни разу не оглянулась...

— Ну, где твоя Маня?.. Кто тебе правду говорил?.. — Жена улыбалась и не скрывала своей радости.

— За мной было побежала... так я ружьём отпугнул...

Жена сунула пальцы в стволы, покачала головой укоризненно. И засмеялась. Тут и я не удержался.

РАТАЙ

Лет семь назад была у меня гончая.

Рыжая, как пламя, а по самой хребтине чёрный ремешок. Ратаем звали.

Принёс Ратая в рукавице, отпоил молочком — солоший был, — а как подрос, обучил его той науке, в которой всё есть: и страсть, и удачи, и зов наших предков-славян, и, чего ж тут скрывать, неудачи.

Ратай, не в пример другим собакам, старался изо всех сил, и ему везло: и зайцев брал, и лисиц. Бывало, ударится в гон — и пошла-а!

Заяц как только не хитрит, а Ратай хоть на малую толику, да перехитрит его. Умнейшая собака! Случалось ему в гоне-то проводить и утро, и день-деньской, и вечернюю зорьку — уже темнота накатится на поле, уже звёзды засветятся... Тут и он появляется. Скулит, рвётся, а сам мокрущий, в болотной грязище, в колючках, фигура заметно подобралась, с горячим блеском в глазах — просит прощения у меня за честную неудачу.

Проведу рукой по его голове, шлёпну разок-другой по загривку:

— Ладно, Ратаюшка! Провёл зайчина тебя? То-то!

Ратай глядит, слушает.

— В другой раз повстречаетесь, будешь знать, с кем имеешь дело: с начинающим, что сбивает и путает все правила, с кандидатом заячьих наук или с полным профессором.

На угоре в то лето добрая гречка уродилась у нас. Скосили её, и на сиреновом поле к осени разгулялась трава. Тут и выпугивал я зайцев. И в тот раз также. Близко подпустил, а промахнулся. Некогда было целиться: на весу стрелял из левого ствола (когда тороплюсь, у меня всегда выходит из левого).

Остался в моих глазах дерзкий заячий хвост да Ратай, ужавшийся в броске почти втрое, стремительный, как реактивный истребитель...

Гон начался. И уже минуты через три переместился за речонку.

Я догадался об этом по голосу Ратая.

Хитёр зайчина: вывел собаку на сырую пашню. Да не на того нарвался — Ратай был всё так же неутомим. Дважды поворачивал зайца на меня, но заяц словно был заколдован от дробы.

Оба распались: и заяц и собака. И вдруг лай со стоном оборвался. Тихо. Синица тенькнула. Палый лист шуршит...

Сердце кольнуло у меня: беда. Быстро перебрёл на ту сторону речки, миновал ольховые кусты, выбежал на взгорок:

— Ра-а-тай-й-й!..

На скупом осеннем солнце лиловела пашня. Обрывками лески несло паутинки.

— Ра-а-тай-й!..

Эхо откинуло голос к лесу.

Я нашёл Ратая. Он лежал на сырой пашне с вытянутыми вперёд лапами — и мёртвый гнал зайца...

Не выдержало сердце у Ратая. Запалилась собака. Это бывает. Не часто, но бывает у очень горячих, настоящих охотничьих собак.



ВЫБОР ДОРОГИ

Ныне редкий охотник, грибник либо ягодник, побывав в лесу, не повстречает буро-серого красавца с могучей грудью, гордой шеей, мягкими задумчивыми глазами и ветвистым деревом рогов. Во множестве развелись лоси и в наших лесах.

...Было это среди белого дня. Захотелось сохатому Рыбинское море переплыть за деревней Бурково. С разбегу ухнул в воду и пошёл, пошёл — только ноздрями пофыркивает да над водой подёргиваются светло-янтарные рога. Работает что твой катер!..

С километр, наверно, плыл. Да одумался, сообразил, что не хватит сил добраться до острова. А на остров ему хотелось вот почему: тихие там болотистые места и осинник молодой —



обильные корма. Вернулся лось на берег, отряхнулся, постоял и принял смелое решение — идти дорогой через шлюзовую плотину, перегородившую Волгу.

И вот жители посёлка Переборы во все глаза глядели, как по асфальтированной дороге, дерзко вскинув голову, важно шагал лесной богатырь. Грузовики уступали ему дорогу, велосипедисты шарахались на тротуары. Лось ни на кого не обращал внимания. Только брезгливо фыркал: «Пфф-е-е... Пфф-е-е...», когда в ноздри ударял бензиновый чад.

Так и дошёл до плотины. На плотине остановился, с высоты посмотрел вокруг — влево солнечный простор Рыбинского моря, вправо голубой разлив Волги — и тем же гвардейским шагом пошёл дальше... Красивый. Гордый. Уверенный, что его никто не посмеет тронуть тут.

Ко мне подошёл рыбак в соломенной шляпе. Оглядываясь на лося, радостно поблёскивая глазами, сказал:

— Каков лешак, а?! А ведь этот лесовик не первый перебирается на остров. Мне четверых посчастливилось уже видеть, но те были куда пошуплее... Ах, красавец!..

Миновав плотину, лось вдруг перешёл на рысь, и так чудесно и лихо зацокали его копыта по асфальту, что все пешеходы изумлённо покачивали головами.

Вскоре лось скрылся в зарослях.

ЛОСЬ-МОРЯК

Что в рукотворном Рыбинском море встречаются кочующие торфяные острова, я знаю, самому доводилось видеть. Но вот какой любопытный случай рассказал мне знакомый гидрометеоролог.

Ехали они на катере Рыбинским морем. Вдруг видят — плавина, так у нас называют эти острова. Метров полтора в длину и с полсотни поперёк. А на ней посерединке бурый камень с какой-то коряжиной. Что за чудеса? Откуда камень на торфянике?..



Завернули к острову. Случалось на таких-то плавинах горстями брать клюкву да бруснику.

Зацепились багориком. Пристали. Потыкали багром — крепкая плавина.

Тогда все, кто был на катере, сошли на торфяник. И тут вдруг остров дрогнул. Это рывком поднялся «камень».

— Соха-ты-ый!..

— Лось!.. — закричали наперебой моряки.

Лось, встав на ноги, потянулся после крепкого, безмятежного сна — кто тут его тронет! — и уставился на людей.

Лось выжидал. Тогда команда катера, вооружённая только одним паршивым багоришком, решила подойти поближе, рассудив, что животное в такой обстановке не бросится на них, не станет бодаться.

Приблизились, с оглядкой всё же, шагов на десять. Потом ещё. Сохатому это не понравилось. Он вдруг дико рванулся с места и, обломив порядочный кусок острова, — бултых в море! И поплыл к берегу, видневшемуся километрах в четырёх.

— Ах, утонет! — пожалел моторист лося.

— Ну нет! — возразил ему гидрометеоролог. — Наши лоси с опытом, хорошие моряки... Они ещё и не на такую дистанцию решаются плыть. Когда нужно, так и все десять километров проплывут... А забираются на плавучие острова, когда их к берегу ветром прибивает. Один раз самого медведя-хозяина подняли на такой-то плавине...

Моряки сели в катер и решили догнать лося. Взревел дизельный мотор, катер помчался. Но и лось работал во все лопатки. Плыл быстро, красиво. Весь в воде, лишь рога покачиваются над водой.

Догнали. Ребята сфотографировали лося и не стали больше досаждать ему.

Катер повернул в море. А сохатый благополучно вернулся на берег.

СОСЕНКА

В лесу так: быстро идёшь — мало увидишь, мало услышишь. Или если ты себе заранее дал задачу: грибы там найти или ягоды, выследить белку или глухаря, то всё, что за задачей, не покажется тебе интересным.

Я миновал арку-дугу из белой берёзы и шёл дорогой, разделявшей лес. На угоре, перед поляной, повстречалась мне сосенка. Была она в мой рост, но на ней уже четыре этажа веток; верхний этаж звёздочкой, а выше только ствол. Сосенка так молода, что между третьим и четвёртым этажом и по вершинке прямо из ствола смешно выходят иглы, по две из каждого гнезда. Иглы блестят на солнышке.

А кончалась вершинка сосенки пятью медными пуляками — новыми отросточками.

И почему-то подумалось, что не может так быть, чтобы я ушёл от красавицы сосенки, своей новой знакомой, просто так: что-то должно случиться. В благодарность за моё внимание.

Так и вышло — птицы запели совсем рядышком, в березняке.

Одна птица поверяла секрет другой:

«Папа пил... пил... пил...»

А любопытная подружка спрашивала:

«Чем-чем-чем?»

И тут над сплетницами вознёс свой голос соловей. Дрогнул лес от чистой и сильной песни.

ПЧЕЛА В АВТОБУСЕ

В открытое окошко автобуса влетела пчела. Автобус шёл по главной улице города и был переполнен.

Заметалась пчела: то кинется в голову автобуса, то над пассажирами, которые боязливо ужимались, пролетит в самый хвост. Но и там и тут пчела натыкалась либо на стекло, либо на холодную металлическую стенку и, растерянная, опять летела, недовольно жужжа.

На остановках автобус впускал и выпускал пассажиров, какое-то время были открыты обе дверки, но умница пчела, умеющая выполнять величайшую из работ — добывать из цветка нектар, не могла сама выйти на простор.

Всё летала, всё летала:

«Жж-жж...»

Так и доехала с нами до конечной остановки, через весь город.

А когда все пассажиры вышли, кондукторша взяла тряпку и решительно выдворила незваную гостью.

СЕМНАДЦАТЫЙ ЛИШНИЙ

Держали мы кроликов — и серых, и белых, и дымчатых.

В это лето крольчиха-самка да пятнадцать крольчат у нас было.

Бывало, ленились ребята и, чтобы не рвать траву, открывали клетки, и кролики сами паслись. Тут же, в огороде. А вечером ребята загоняли их, пересчитывая.

Так было и на этот раз.

Вдруг влетает ко мне младший сынишка Алёшка, глаза посверкивают радостью, и кричит оглашенно:

— Семнадцатый! Лишний, папа!..

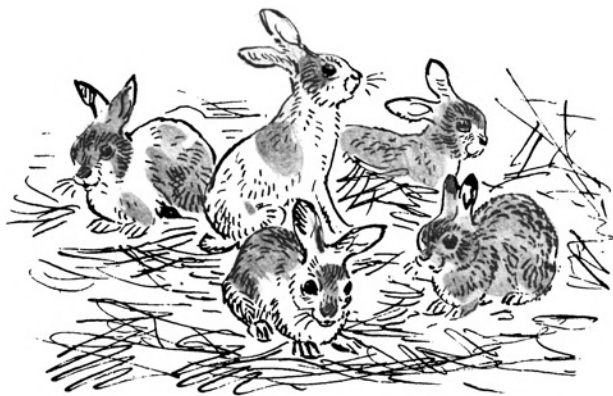
От школьных тетрадей оторвал меня.

— Толком говори!

— Семнадцатый!.. Лишний!.. — опять повторяет он.

— Лёша!..

— Ну как ты не можешь, папа, понять? У нас в клетке семнадцатый кролик. Понимаешь, лишний кролик.



— Значит, чужого загнали.

— Да не-ет! Чужие все дома: мы и к Соколовым сбегали, и к Рыбаковым... А больше в деревне ни у кого нет, сам знаешь.

Пошли мы к клетке.

На дворе уже начало смеркаться. Пересчитали — точно, семнадцать. Ещё раз пересчитали — прав Лёша! Но какой же не наш?

Сколько догадок было высказано моими ребятами в этот вечер, да только никто не дошёл до правильной. Утром мы опознали «семнадцатого лишнего» — серенький, ушки ужал. Это был зайчонок — прибился к нашему стаду. Выпустили мы кроликов пастись, и зайчонок вышел.

Ничего не взяли с зайчишки за ночлег. И опять гадали: вернётся в клетку «семнадцатый лишний» или нет?

Мал был зайчонок и только одну ночь провёл в клетке, а выбор сделал правильный — поле выбрал.

ПЕРО ЛЕБЕДЯ

За городом на картофельном поле Андрейка подобрал перо. Вечно он что-нибудь найдёт и тащит показывать: то сучок, похожий на локоть, то «чёртов палец», то конский волос.

— Глядите! — крикнул он во дворе. — У меня перо... лебедя!

— Ле-бе-дя! Ещё скажи — таймырского! — сердито прервал его Гошка. — Да это перо самого... ха-ха-ха!.. обыкновенно-о-о-венно-о-го-о петуха! — и, небрежно повертев в руке, сунул белое перо Костику.

Я видел, как лицо Андрейки стало грустным, как в его глазах погасла радость.

— Похоже на гусиное, — без всякого злорадства сказал Костик.

И тогда с последней надеждой Андрейка протянул перо мне.

— А вы как думаете, дядя Миша? Вы же охотник...

Я молча взял перо, подул на него, таинственно поглядел на свет — нельзя было отгадать, чьё перо, — и сказал просто:

— Лебедя.

Теперь, когда перо стало лебединым, ему радовался не только Андрейка, но и все ребята.



СОДЕРЖАНИЕ

Ласточки	3
Ромашка	6
Концерты	10
Крепко сидит	11
Нашёл себе дружка	13
Хитрая щука	15
Рыжик	17
Конь с волчьей меткой	23
Утятя	26
Догадка Митрофановны	27
Земляника-ягодка	29
Мать	30
Тёлочка и скворчонок	31
Как пахнут окуни	33
Обеденный час	—
Белые грибы	35
Вот тебе и разбойники!	37
Жеребёнок	38
Коряжонок	39
Елочные ясельки	45
Пёс по кличке Шумок	47
Шёлковые уши	51
Дятлова кузня	57
Взрывы на снегу	58
Ласка	60
Ещё одна удача	—
У чаек хоровод	64
Маня	66
Ратай	68
Выбор дороги	70
Лось-моряк	71
Сосенка	73
Пчела в автобусе	74
Семнадцатый лишний	75
Перо лебедя	76

Для младшего школьного
возраста

Бочарников Василий Алексеевич

ШЕЛКОВЫЕ УШИ

Рассказы

Ответственный редактор *Л. И. Доукиша.*

Художественный редактор *Н. И. Комарова.*

Технический редактор *О. В. Кудряцева.*

Корректоры *З. С. Ульянова и М. Б. Шварц.*

Сдано в набор 20/1 1969 г. Подписано к печати
8/IV 1969 г. Формат 70×90¹/₁₆. Печ. л. 5. Усл. печ.
л. 5,85. (Уч.-изд. л. 4,13). Тираж 100 000 экз.
ТП 1969 № 212. Цена 24 коп. на бум. № 2.
Издательство «Детская литература». Москва,
М. Черкасский пер., 1.

Калининский полиграфкомбинат детской литерату-
ры Росглаволиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров РСФСР. Калинин, прос-
пект 50-летия Октября, 46. Заказ № 39.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

*В издательстве «Детская литература» в 1969 году
вышли и выходят книги:*

Аргунова Н. ПЕСЕНКА САВОЯРА.

Рассказы о дельфине, сурке, лосе, обезьянке и других
животных

Воронкова Л. ВОЛШЕБНЫЙ БЕРЕГ.
Повесть-сказка

Ермаков И. СТОИТ МЕЖ ЛЕСОВ ДЕРЕВЕНЬКА.

Две повести, их герои — сибиряки, наши современники

Сладков Н. В ЛЕСАХ СЧАСТЛИВОЙ ОХОТЫ.
Рассказы о природе

Фарутин М. ЛЕДОХОД.
Повесть и рассказы

*Эти книги по мере выхода их в свет можно приобрести в
магазинах Книготорга и потребительской кооперации.*

*Книги высылаются также по почте наложенным плате-
жом отделом «Книга—почтой» областных, краевых и респу-
бликанских книготоргов.*

